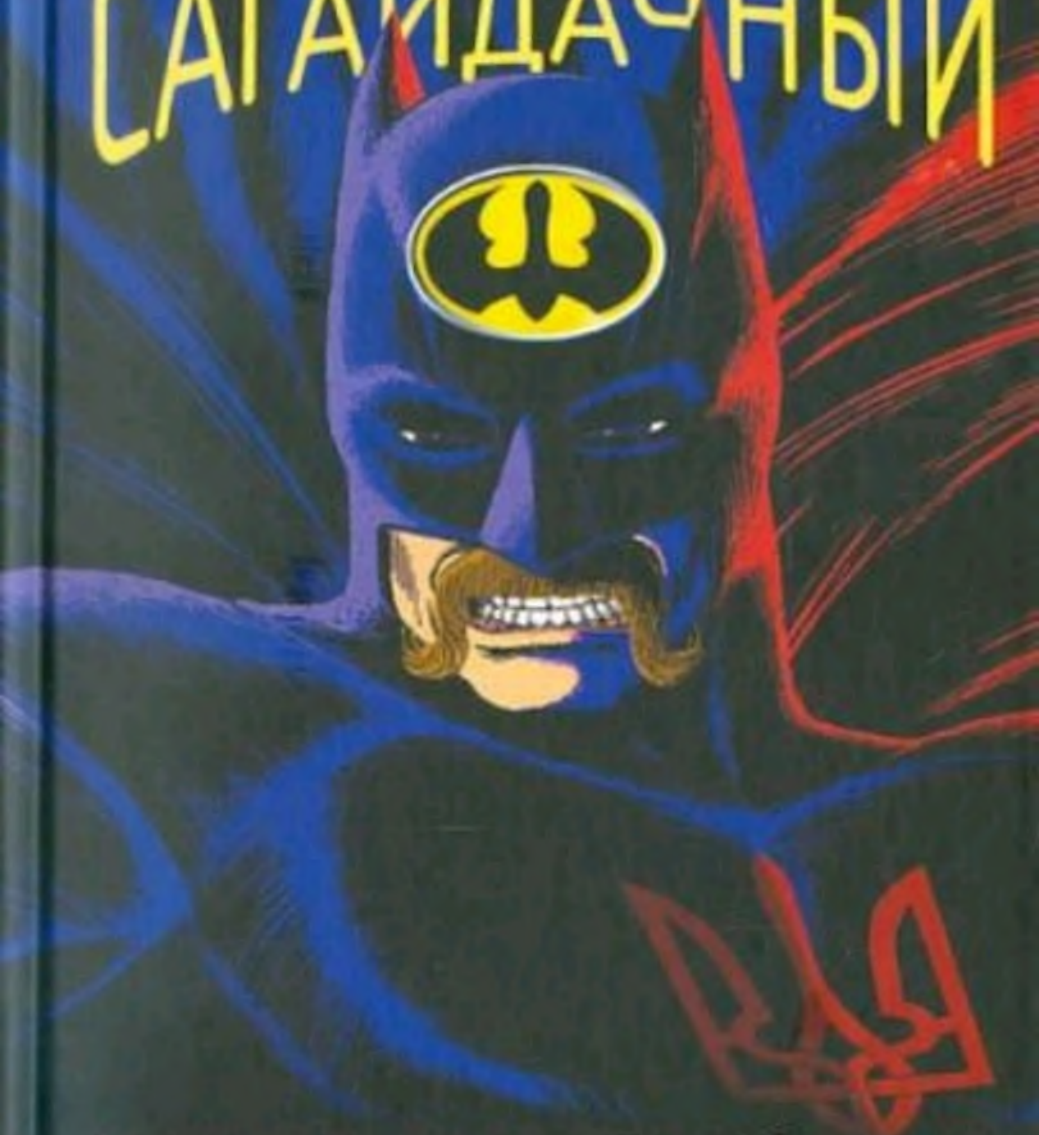


АЛЕКСАНДР КАБАНОВ

БЭТМЕН

САГАЙДАЧНЫЙ



КРЫМСКО_ХЕРСОНСКИЙ ЭПОС

АЛЕКСАНДР КАБАНОВ

БЭТМЕН САГАЙДАЧНЫЙ

КРЫМСКО-ХЕРСОНСКИЙ ЭПОС



Art House
media

Москва
2010

УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84(4Укр)-5
К12

Кабанов А.

К12 Бэтмен Сагайдачный. Крымско-херсонский эпос. Сб. стихотворений / А. Кабанов. — М.: Арт Хаус медиа, 2010. — 160 с.

ISBN 978-5-902976-31-8

Кабанов Александр Михайлович — известный русский поэт, живущий в Киеве, лауреат Международной премии им. Великого князя Юрия Долгорукого (2004), премии журнала «Новый мир» (2005) и премии «Планета Поэта» им. Л. Н. Вышеславского (2007), автор семи книг и многочисленных публикаций в газетной и журнальной периодике: «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Континент», «Зарубежные записки», «Арион», «Радуга», «Смена», «Волга», «Новый Берег», «День и Ночь», «Дети РА» и др. Кроме того, Александр Кабанов — главный редактор журнала культурного сопротивления «ШО», один из основателей украинского слэма, координатор Международного Фестиваля Поэзии «Киевские Лавры».

УДК 821.161.1(477)-1
ББК 84(4Укр)-5

ISBN 978-5-902976-31-8

© Кабанов А. Текст, 2010
© Арт Хаус медиа, 2010

БЭТМЕН САГАЙДАЧНЫЙ

*«Новый Lucky Strike» – поселок дачный, слышится
собачий лайк,
это едет Бэтмен Сагайдачный, оседлав роскошный байк.
Он предвестник кризиса и прочих апокалипсических забав,
но, у парня – самобытный почерк, запорожский нрав.
Презирает премии, медали, сёрбаёт вискарь,
он развозит Сальвадора Даля матерный словарь.*

*В зимнем небе теплятся огарки, снег из-под земли,
знают парня звери-олигархи, птицы-куркули.
Чтоб не трогал банки и бордели, не сажал в тюрьму –
самых лучших девственниц-моделей жертвуют ему.
Даже украинцу-самураю трудно без невест.
Что он с ними делает? Не знаю. Любит или ест.*



* * *

Крыша этого дома — пуленепробиваемая солома,
а над ней — голубая глина и розовая земля,
ты вбегаешь на кухню, услышав раскаты грома,
и тебя встречают люди из горного хрусталя.

Дребезжат, касаясь друг друга, прозрачные лица,
каждой гранью сияют отполированные тела,
старшую женщину зовут Бедная Линза,
потому что всё преувеличивает и сжигает дотла.

Достаешь из своих запасов бутылку «Токая»
и, когда они широко открывают рты —
водишь пальцем по их губам, извлекая
звуки нечеловеческой чистоты.



* * *

Не лепо ли ны б'яшет, братие, начаты старыми словесы:

«У первого украинского дракона были усы, роскошные серебристые усы из загадочного металла, говорили, что это — сплав сала и кровяной колбасы, будто время по ним текло и кацапам в рот не попало.

Первого украинского дракона звали Тарас, весь в чешуе и шипах по самую синюю морду, эх, красавец-гермафродит, прародитель всех нас, фамилия Тиранозавренко — опять входит в моду.

Представьте себе просторы ничейной страны, звериные нравы, гнилой бессловесный морок, и вот, из драконьего чрева показались слоны, пританцовывающая и трубя «Семь-сорок».

А вслед за слонами подданные люди гурьбой, в татуировках, похожих на вышиванки, читаем драконью библию: «Вначале был мордобой... ..запорожцы — это первые панки...»

Через абзац: «Когда священный дракон издох и взошли над ним звезда Кобзарь и звезда Сердючка, и укрыл его украинский народный мох, заискрилась лагерная «колючка»,

в поминальный венок вплелась поебень-трава, потянулись вражьи руки к драконьим лапам...»
Далее — неразборчиво, так и заканчивается глава из Послания к жидам и кацапам.



* * *

Жил в Херсоне один циклоп, неспособный наморщить лоб,
потому что весь из себя — эх, сплошные цыганские очи,
загляденье, а не циклоп, он в подковы гнул антилоп,
а в его желудке плавали тамагочи.

Наш циклоп не носил очки — у него в шесть рядов зрачки,
угонял лошадей и в мешках под глазами прятал,
но, увидеть его могли только местные дурачки
и слепые поэты, когда он от счастья плакал.



* * *

В бульварной газете, черным по желтому, я прочел,
что наш президент ненавидит летучих мышей и пчел,
дескать, после работы он спешит в глубокий подвал,
там искрит зловещий рубильник,
там чудовищный дремлет штурвал,
президент говорит: «Любі друзі, усе — very good...»,
но, в ответ — лишь мышиный писк да пчелиный гуд,
громоздятся ульи и тесные клетки, висят крюки,
раньше здесь обитали алхимики-большевики,
а теперь прорублен пожарный выход в соседний ад,
и премьер-министры резиновые стоят:
«Для битья? — гадают в газете, —

для извращенной любви?»

Вот прибор, измеряющий уровень меда в крови,
центрифуга и мощный лэптоп, присобаченные к столу...
Президент пинцетом отлавливает пчелу,
пересаживает в майонезную баночку,
добавляет красную ртуть,
от которой, как пели «Beatles»: мертві бджоли гудуть...
Что гудеть они Украине: сладкий цимес, скорый кирдык?
Ох, как труден для понимания русско-пчелиный язык,
то ли дело на древнескифском себе мычишь,
а теперь призовем к ответу летучую мышь...

«Продолжение следует», — мерзкий бульварный листок
подтверждает общую мысль, что мир — жесток,
если б наш президент был бы первый урод и дебил,
он бы — только пчел и летучих мышей любил.



СЛОБОДКА

Ближе к вечеру — воздух становится подвижней,
с подоконника вспархивает бабочка Адмирал,
наблюдая странные похороны:
бутыль самогона закапывают под вишней, —
и думает: «Так еще никто не умирал...».

Самый дальний край херсонской слободки,
в овраге — цыганский табор,
багульник, чертополох, камыш,
выбритые до синевы скулы и подбородки
домов, шиферные шевелюры крыш.

Днепр тянется лентою тугоплавкой —
в ржавых пупырышках сухогрузов и барж,
плавни слегка отсвечивают холодной сваркой,
бабочка сама себе командует: «Шагом марш!», —

и возвращается на адмиральский мостик,
ставни открыты, в комнате женский стон,
затем, умоляющий шепот: «Ну, еще разочек, Костик...»
бабочка недоумевает и погружается в сон.

А по двору гуляют: запах сапожного клея,
крашеной кожи, слышится молоточный стук,
старый сапожник оглядывается, сплевывает, и, не жалея —
забивает последний гвоздь глубоко в каблук.



* * *

Оглянулась, ощерилась, повернула опять налево —
в рюмочной опрокинула два бокала,
на лету проглотила курицу без подогрева,
отрыгнула, хлопнула дверью и поскакала.

А налево больше не было поворота —
жили-были и кончились левые повороты,
хочешь, прямо иди — там сусанинские болота,
а направо у нас объявлен сезон охоты.

Расставляй запятые в этой строке, где хочешь,
пей из рифмы кровь, покуда не окосеешь.
Мне не нужно знать: на кого ты в потемках дронишь,
расскажи мне, как безрассудно любить умеешь.

Нам остались: обратный путь, и огонь, и сера,
мезозойский остов взорванного вокзала..
Чуть помедлив, на корточках возле меня присела
и наждачным плечом прижалась, и рассказала.



* * *

Боже, зачем мы с Тобой связались
и на Тебя напоролись?
Теперь над нами восходит физалис,
бушует в венах прополис,
теперь, похожие на вопросы,
склонились влажные цикламены,
приоткрывают стрекозы
мотоциклетные шлемы.

Господи, мы ведь — нормальные челы,
а теперь — озимые пчелы,
у наших крыльев — цвет лимончелы,
гуденье — наши глаголы.
Я знаю, Господи, прошлым летом,
Тебе моя душа не мешала:
о, эти вырванные пинцетом —
из наших задниц острые жала.

Любовь божественна в бесполезном,
любовь — сливовая бормотуха,
давайте выпьем над этой бездной,
успеем ли опылить друг друга?
Когда услышим в немом повторе,
увидим, если увидим, вскоре,
вечнозеленое плачет море,
морское море.



* * *

Водомерка очнется в самой высокой рюмке,
заскользит на месте, касаясь коньячной кромки,
ох, и тесно вам, мои шептуньи думки,
кружевные жабры и барабанные перепонки.

Водомерка уткнется в след от губной помады
и подумает: «Как вульгарен рассвет в Казани...»
Ох, и тяжело с похмелья вам, мои камарады,
как мучительно пьется левое «Мукузани».

Пробуждаются ангел страсти и бес привычки —
сколько раз водомерку они спасали?
Чудо прячется в табаке, в уцелевшей спичке,
а затем, обретает смысл в марсианском сале.



* * *

И чужая скучна правота, и своя не тревожит, как прежде,
и внутри у нее провода в разноцветной и старой одежде.
Желтый провод — к песчаной косе, серебристый — к звезде
над дорогой,
не жалей, перекусывай все, лишь — сиреневый провод
не трогай.

Ты не трогай его потому, что поэзия — странное дело:
все, что надо — рассеяло тьму и на воздух от счастья взлетело.
То, что раньше болело у всех — превратилось в сплошную
щекотку,
эвкалиптовый падает снег, заматавая навеки слободку.

Здравствуй, рваный, фуфаечный Крым, потерявший империю
злую,
над сиреневым телом твоим я склонюсь и в висок поцелую.
Липнут клавиши, стынют слова, вот и музыка просит повтора:
Times New Roman, ребенок ua, серый волк за окном монитора.



* * *

Местные лошади бредят тачанкой,
что бронзовеет в степях под Каховкой,
ржет на конфетах с клубничной начинкой,
мчится в куплетах с печальной концовкой.

Скифские бабы (видать, от обиды)
окаменели, в кровать не заманишь.
Вспомнишь полынное небо Тавриды
и позабудешь, писателем станешь.



* * *

Будто скороходы исполина —
раздвоилась ночь передо мной,
и лоснилась вся от гуталина,
в ожиданье щетки обувной.

Что еще придумать на дорожку:
выкрутить звезду на 200 ватт?
Не играют сапоги в гармошку,
просто в стельку пьяные стоят.

В них живут почетные херсонцы,
в них шумят нечетные дожди,
утром, на веранду вносят солнце
с самоварным краником в груди.



МАНТРЫ-МАНДРЫ

На дверях сельсовета оранжевая табличка:
«Все ушли на заработки в Нирвану»,
людям нужен быстрый Wi-Fi, «наличка»,
однополый секс, и я возражать не стану.

Многорукая вишня меня обнимет: чую —
инфракрасные колокольчики зазвенели,
харе Кришна, что я до сих пор кочую,
харе Рама, в гоголевской шинели.

Поворотись-ка, сынку, побудь завмагом:
сколько волшебных мыслей в твоём товаре,
солнце курит длинную булочку с маком,
острые тени двоятся на харе-харе.

Чуден Ганг, но что-то зреет в его пучине,
редкая птица, не отыскав насеста,
вдруг превращается в точку посередине,
обозначая касту этого текста.



ЦИРКОВЫЕ

1.

Цирковая династия: терракотовые артисты,
император перед финансовой бездной:
овладев секретаршей, инсталлирует Windows Vista,
только юная акробатка смеется из поднебесной,

зависая под куполом, от пальчиков ног до макушки
в лунном свете, едва удерживаясь на опорах...
А еще — ее выстреливают из пушки,
но, вчера император велел экономить порох.

Буква «О» в кавычках — горящий обруч, смертельный номер,
каждый вечер, вжимая пивной живот,
пожилой учетчик глазел на нее и помер,
а вот, что он записывал в свой блокнот:

«Понедельник: трусики из шанхайского шелка,
белые, в спелых вишенках. Не забыть очки.

Вторник: черные, кружевные и только.

Среда: золотистые светлячки.

Четверг: она заболела. Говорят, сильная рвота.

Пятница: публика — сборище похотливых макак,
сплетни про ее беременность. Суббота:
она без трусиков. Это хороший знак...»

2.

Цирк, цирк, вернее, чирк, чирк — отсырели
спички, слышится плач младенца, прокашливается трубач,

длинная, хрупкая тьма в дырочках от свирели,
запах свежих опилок, и снова плач.

Ослепительно взрывается великанский
апельсин, разбрызгивая электрический сок,
утираешь лицо от выходки хулиганской,
и оркестр наяривает марш-бросок.

Выбегают униформисты, жонглеры тасуют кольца,
акробаты впрыгивают на батут,
иллюзионист приглашает еще одного добровольца:
«Постойте здесь. Проткните шпагой вот тут...»

Наступает черед танцевать слонам и собакам,
дрессировщик — волосы в перхоти, зевающий лев,
скачут пони, обдавая зрителей аммиаком,
постепенно манеж превращается в хлев.

Шпрехшталмейстер радуется, что полон
зал: эквилибристу негде упасть,
и в конце представленья выходит горбатый клоун,
издевательски ощеривая акулю пасть.

Он ведет себя не смешно и ужасно глупо,
древний голод переполняет его зрочки,
что еще чуть-чуть, и ворвется в зал цирковая труппа —
в трупных пятнах, кромсая публику на куски.



LAZAR.DOC

Удаленные файлы всегда оставляют эхо —
tpr, по которому можно их воскресить,
и во мне — террабайты любви, печали и смеха,
человек, уходя во тьму, обретает нить,

и за эту нить, из черноземной пучины,
можно вытащить всех, оживить, наделить судьбой:
возвращаются дети, женщины и мужчины,
вот и встретились, милая, мы с тобой.

Полусонные, в черствых крошках земли и неба,
опаленные райским огнем слегка,
и любить тебя, и не любить — нелепо,
ведь второго раза не будет наверняка.

О, воскресшие обитатели блогосферы,
будем в новых потемках старые комменты жечь,
собирая плату, обходит Лазарь свои пещеры,
постояльцы знают, на что способен лазерный меч.



ШЕЛКОПРЯД

Я здесь, я тут,
потому и зовут меня — тутовый шелкопряд,
злые языки плетут,
что я — не местный, что я — тамошний шелкопряд,
понаехавший, *gastarbeiter*, пархатый шельмец...

...тянутся дни чередою витражных окон,
вот задрожал и свернулся в праздничный кокон
турецко-подданный мой отец.

Сон шелкопряда — это шелковицы смех,
ибо она зацветает только во сне шелкопряда,
это слова: шаддах, килим и силех,
хитросплетенье узоров райского сада.

Евнух с кривым мечом, и опять грустны
юные одалиски: чья голова на блюде?
Все шелкопряды видят одни и те же сны,
как в них живут и умирают люди.

А я по-прежнему тут, я еще и еще здесь,
вот привели туристов, они из страны — Нэтрэба,
километровой шелковой нитью укутан весь:
от последней строки и до самого первого неба.



* * *

Переводить бумагу на деревья и прикусить листву:
синхронной тишины языческая школа —
и чем больней, тем ближе к мастерству,
мироточит туннель от дырокола.

Но, обездвижен скрепкою щегол,
и к сердцу моему еще ползет упорно —
похожий на шмеля, обугленный глагол,
из вавилонского сбежавший горна.

В какой словарь отправился халдей,
умеющий тысячекратно —
переводить могилы на людей,
и выводить на солнце пятна?

Всевышний курс у неразменных фраз:
он успевал по букве, по слезинке —
выхватывать из погребальных ваз
младенцев в крематорском поединке.

И я твой пепел сохранил в горсти
и убаюкал, будто в колыбели,
и сохнут весла, чтоб перевести
на коктебельский и о Коктебеле



* * *

Кондитерская фабрика Рот Фронт,
а я прочитал: Рот в Рот, —
и сразу всплывает утопленница
невиданной красоты
и требует кислород,
и требует, чтобы винты
спасательных катеров
не потревожили плод.
Она плывет и плывет,
а в ней — ребенок летит,
а я прочитал: Рот в Рот,
нагуливая аппетит.
Она плывет и плывет,
и черт ее — не разберет,
и Бог ее — не простит.



* * *

А что мы всё — о птичках, да о птичках? —
фотограф щелкнет — птички улетят,
давай сушить на бельевых кавычках
утопленных в бессмертии котят.

Темно от самодельного крахмала,
мяуканье, прыжок, еще прыжок...
А девять жизней — много, или мало? —
а просто не с чем сравнивать, дружок.



СТАРОЕ НОВОЕ КИНО

Главный герой покидает церковь в зеленом берете,
его невеста варит спагетти, принимает душ, спасает котят,
на четвертой минуте фильма — свадьба,
на девятой — рождаются дети,
близнецы, которые в следующей серии отомстят.

Револьверное дуло выглядывает из ширинки,
крупный план, нарезной ствол, пугающая темнота,
выстрел, визжат перекрашенные блондинки,
убийца впрыгивает в аэроплан: от винта!

Старые кино-злодеи человечнее новых,
правда, не тот размах, не так засекречен объект.
Главных героев уносит ветром,
чахнет песня в кустах терновых,
и любовь — пока еще основной спецэффект.

Хроники Нарнии, шизики Риддика, грязный Гарри,
Морфиус пьет таблетки, Ван Хельсинг нащупал дно..
Кадры мелькают в компьютерном перегаре,
и Фантомас не вернется в такое кино.



* * *

Проснулся после обеда, перечитывал Генри Миллера,
ну, ладно, ладно — Михаила Веллера,
думал о том, что жизнь — нагромождение цитат,
что родственники убивают надежней киллера
и, сами не подозревая, гарантируют результат.

Заказчик известен, улики искать не надо,
только срок исполнения длинноват...
Как говорил Дон Карлеоне и писал Дон-Аминадо:
«Меня любили, и в этом я виноват...»

Заваривал чай, курил, искал сахарозаменитель,
нашел привезенный из Хорватии мед,
каждому человеку положен ангел-губитель,
в пределах квоты, а дальше — твой ход.

Шахматная доска тоже растет и ширится,
требует жертв, и не надо жалеть коня,
смотрел «Тайны Брейгеля», переключил на Штирлица:
он прикончил агента и вдруг увидел меня.



* * *

Мой милый друг! Такая ночь в Крыму,
что я — не сторож сердцу своему.
Рай переполнен. Небеса провисли,
ночью в перевернутой арбе,
И если перед сном приходят мысли,
то как заснуть при мысли о тебе?
Такая ночь токайского разлива,
сквозь щели в потолке, неторопливо
струится и густеет, августев.
Так нежно пахнут звездные глубины
под мышками твоими голубыми;
Уже, наполовину опустев,
к речной воде, на корточках, с откосов —
сползает сад — шершав и абрикосов!
В консервной банке — плавает звезда.
О, женщина — сожженное огниво:
так тяжело, так страшно, так счастливо!
И жить всегда — так мало, как всегда.



* * *

Любовный тихоход, продавленный диванчик,
и встречные огни херсонских дач,
нетронутый еще, белеет одуванчик,
как будто рычажок в коробке передач.

Вдыхая аромат сгоревшего бензина
и открывая термос новизны:
что жизнь — не выносима, вывозима —
вперед капотом, на погост весны.

Подземный светофор приподнимает веки,
гаишник — лысый черт, выписывает штраф,
и в вечной пробке дремлют человеки
влюбленные, и жизнь и смерть поправ.



* * *

Твердый дятел — клюв в алмазной крошке,
что ж ты всем проламываешь бошки?
Видно, ищешь выход в лучший мир,
где сорока, из хрустальной ложки,
предлагает свежий кашемир.

Там, где счастье лишь в синичьих лапках,
там туземцы ходят в красных шляпках,
там, где в клюве и под языком —
все слова — с вишневым мягким знаком.

Это место необыкновенно...,
ты, в моей откроешь голове,
ничего, что в ней гуляет ветер,
значит, ему тесно на земле.



* * *

Мухаммед-бей раскуривал кальян
и, выдыхая, бормотал кому-то:
Ни Господа, ни инопланетян —
повсюду одиночество и смута.

А вдалеке, на самой кромке дня,
который пахнет перезревшей сливой,
вытаскивал Каштанку из огня
один поэт и повар молчаливый.

И я пролил за родину кагор,
лаская твое ветренное тело,
читал кардиограмму крымских гор,
прощал врагов, и сердце не болело.

Под небом из богемского стекла
вот так и жили мы на самом деле,
лишь иногда — земля из глаз текла
и волны под ковчегом шелестели.



* * *

Сколько еще будут дрессировать
сердце мое цитрусовые майданы?
«ЦУМ» заходит за разум, в отделе «Ручная кладь»
продаются дикие сумки и чемоданы.

Там, там-там, живет кенгуренок один,
его изредка могут увидеть дети и старики,
поэтому он обожает валокордин,
леденцы от кашля и прочие пустяки.

Дважды в одну и ту же сумку не ляжет спать,
иногда боксирует с собственной тенью.
Откуда он взялся? Этого лучше не знать,
сердце мое, — по твоему хотенью.

Так ли надобно ведать, откуда источник наш?
Мы обтянуты скверной кожей — видать, спросонок.
К Рождеству обещан сезон прощаний и распродаж,
и в сердечной сумке плачет мой кенгуренок.



КУРЕНИЕ ДЖА

Что-то потрескивает в папиросной бумаге:
как самосад с примесью конопли,
как самосуд в память о Кара-Даге,
и, затянувшись, смотришь на корабли.

Вечер позолотил краешек старой марли,
и сквозь нее проступают мачты, мечты, слова —
складываются в молитву, в музыку Боба Марли,
в бритву, в покрытые пеной — крымские острова.

Мокрые валуны правильными кругами
расходятся от тебя, брошенного навсегда.
Но, кто-то целует в шею и обхватывает ногами
и ты выдыхаешь красный осколок льда.



* * *

Борису Херсонскому

Симфония краснеет до ушей,
мохнатый тенор плещется в бассейне,
дни сплющены, как головы ужей,
и греются на солнышке осеннем.

Привоз, преодолевающий печаль,
под видом реконструкции — кончину,
а в небесах потрескалась эмаль
и по углам колышет паутину.

Твои подвалы окнами на юг,
а за щекой — раздвоенное слово,
и дни неотличимы от гадюк,
шипят и не боятся змеелова.

Одесса-мама, и твоих змеят
в петлю поймают и забросят в кузов,
а я всю жизнь высасываю яд
из двух незаживающих укусов.



* * *

Вместо щуки и судака — в помощь народу,
теперь разводят мессий и пророков,
и они вытаптывают всю воду —
от лимана и до днепровских порогов.

Будто дворник, бубнит спросонья буксир:
« Батоптали бут, убирай за бами...»,
кроет самыми последними
и самыми первыми словами,
поднимает волну, удаляется. Бирю-бир.

Водомерки-сыщицы, что-то вынюхивая, скользят,
шепчутся: «Здесь его нет, и здесь его нет...», —
и мой поплавок — бирюзовый с головы до пят,
относит течением, куда не след.



* * *

А если ты сверчок — пожизненно обязан —
сверкать, как будто молния над вязом,
и соответствовать призванию своему:
быть словом во плоти, быть новоязом,
хитиновым пристанищем в Крыму.

Фанерную в занозах тишину,
из запятой, из украинской комы,
горбатым лобзиком выпиливая дни,
ты запиши меня в созвездье насекомых —
в котором будут спать тарковские одни.

С врагами Рериха я в связях незамечен,
на хлипком облачке, на облучке —
бессмертием и счастьем изувечен,
покуда дремлет молния в сверчке.



* * *

И когда меня подхватил бесконечный поток племен,
насадил на копыа поверх боевых знамен:
«Вот теперь тебе — далеко видать, хорошо слышать,
будешь волком выть, да от крови не просыхать,
а придет пора подыхать, на осипшем ветру уснуть,
ты запомни обратный путь...»

И когда я узрел череду пророков и легион святых,
как сплавляют идолов по Днепру, и мерцают их
годовые кольца, как будто нимбы, за веком — век:
только истина убивает, а правда — плодит калек,
только истина неумолима и подобна общей беде,
до сих пор живем и плавимся в Золотой Орде.

Ты упрячь меня в самый дальний и пыльный Google,
этот стих, как чайник, поставь закипать на уголь,
чтобы он свистел от любви до боли, и тьмы щепоть —
мельхиоровой ложечкой размешал Господь.
И тогда я признаюсь тебе на скифском, через моря:
высшей пробы твои засосы, любовь моя.



* * *

Отгремели русские глаголы,
стихли украинские дожди,
лужи в этикетках Кока-Колы,
перебрался в Минск Салман Рушди.

Мы опять в осаде и опале,
на краю одной шестой земли,
там, где мы самих себя спасали,
вешали, расстреливали, жгли.

И с похмелья каялись устало,
уходили в землю про запас,
Родина о нас совсем не знала,
потому и не любила нас.

Потому что хамское, блатное —
оказалось ближе и родней,
потому что мы совсем другое
называли Родиной своей.

ТРОЯНСКИЙ ОДЕКОЛОН

скитания





ВАРИАЦИИ

В кармане — слипшаяся ириска:
вот так и находят родину, отчий дом.
Бог — еще один фактор риска:
веруешь, выздоравливаешь с трудом,
сидишь в больничной палате,
в застиранном маскхалате,
а за окном — девочки и мартини со льдом.

Сколько угодно времени для печали,
старых журналов в стиле «дрочи-не дрочи»,
вот и молчание — версия для печати,
дорогие мои москвичи.
Поднимаешься, бродишь по коридору,
прислушиваешься к разговору:
«Анна Каренина... срочный анализ мочи...»

Мысли мои слезятся, словно вдохнул карболки,
дважды уходишь в себя, имя рек,
«Как Вас по отчеству?», — это Главврач в ермолке,
«Одиссеевич, — отвечаю, — грек...»
Отворачиваюсь, на голову одеяло
натягиваю, закрываю глаза — небывало
одиноким, отчаявшийся человек.

О, медсестры — Сцилла Ивановна и Харибда Петровна,
у циклопа в глазу соринка — это обол,
скорбны мои скитания: Жмеринка, Умань, Ровно...
ранитидин, магнезия, димедрол...
Лесбос бояться, волком ходить, и ладно,
это — Эллада, или опять — палата,
потолок, противоположный пол?



* * *

Се — Азиопа, ею был украден
и освежеван древний бог,
из треугольных рыжих виноградин —
ее лобок.

И мы в мускатных зарослях блуждаем,
когорта алкашей.
Овидий прав: так трудно быть джедаем
среди лобковых вшей.

Се — Азиопа, наша ридна маты,
кормилица искусств.
Кто нынче помнит Зевса? Жестковатый
и сладкий был на вкус.

Так, впрочем, сладок всякий иноверец,
философ и поэт,
добавь в судьбу — лавровый лист и перец,
ты сам себе — обед,

обед молчанья, кулинарный случай,
подстережет в пути,
гори один и никого не мучай,
гори и не звезды.



* * *

Челночники переправляют в клетчатом бауле
Харона через таможенный терминал,
старые боги ушли, а новые боги уснули,
электронные платежи, бездна, а в ней — безнал.

В позе эмбриона с баночкой кока-колы
о чем-то шипящей и темно-красной на вкус,
Харон засыпает, и снятся ему оболочки,
киоск обмена валюты (очень выгодный курс!),

школьное сочинение: «Как ты провел Лету?»,
берег, плывущий навстречу, в жимолости и хандре,
первая женщина — Индра, а последняя — Света
с татуировкой ангела на бедре.

Она оставила визитку с телефонами этих
самых челночников, жителей Чебоксар.
Марк Аврелий был прав: смерть — сетевой маркетинг,
а любовь — черно-белый пиар.

Баул открывается радостным: «Прилетели!»
Харон успевает подумать, как же ему повезло,
он еще не видит пустыню, по которой идти недели,
и бедуина, который выкапывает весло.



* * *

Разбавленный, по-гречески, вином —
ночует дождь в бидоне жестяном,
Стравинский, свежескошенный, — смеется,
горят плоты, смердит резиной — плоть,
но, как и прежде, верит в нас Господь,
и любит нас, и в руки не дается.

Писать стихи о перемене поз,
когда у счастья — триппер и склероз:
и чье оно? И для чего? Не помнит.
Все холоднее осень, все больней:
от суффиксов до кончиков корней,
и тянет винной плесенью из комнат.

Октябрь, забронируй мне листву:
я сяду в бронепоезд на Москву
и вновь усну над пивом и сонетом.
Изгнания скрипит гончарный круг,
и если ты мне, Парадоксов, — друг,
прости данайца и не плачь об этом.



* * *

Чем отличается парикмахер от херувима?
У херувима — хер спереди, у парикмахера — сзади:
бородатая хохма. Помню, мы возвращались из Крыма —
Леха Остудин, я и какие-то бляди.

Скинулись на такси до Симферополя, и всю дорогу
молчали под радио, подпрыгивали на ухабах,
бляди сидели грустные, будто молились Богу,
ну а мы — о стихах, о бизнесе, и о бабах.

Так и молчали под Шуфутинского и Носкова,
похмелялись пивом, прислушивались к здоровью,
за окном — ничего особенного, ничего такого —
крымское утро, похожее на отбивную с кровью.

Почему-то вспомнилось детство, маленькая руина
прошлой жизни, кафель, рыжие длинные пряди...
Чем отличается парикмахер от херувима?
У херувима — хер спереди, у парикмахера — сзади.

Щелкают ножницы, хищно перерезая рифмы,
падают волосы, скручиваясь на лету и седея...
снова очнешься — на заднем сидении нимфы
и Леха Остудин с профилем Одиссея.

Воспоминания не прижечь глаголами:
одеколон троянский, попутный фен, озорные брызги,
Леха мечтает: вот бы все бабы ходили голыми,
ну что ж, поддерживаю, понимаю, что путь не близкий.



* * *

Рыжей масти в гостиной паркет —
здесь жокей колдовал над мастикой.
И вечерний бутылочный свет
был по вкусу приправлен гвоздикой.
За щекой абажура опять —
то ли Брамс, то ли шум Гелеспонта.
Хоть кента приглашай забухать,
хоть кентавра купай из брендспойта!
Вот стихов удила — поделом,
видно, выдохлись лошади эти.
И осталось уснуть за столом
и проснуться. В грядущем столетье.



* * *

Безголовые аполлоны мечтают о покое,
о беломраморной лошади и о ржаном виски,
но, девушки-экскурсантки рассматривают их пиписки,
поглаживают, хихикают, и все такое.

Безголовые аполлоны мечтают о сортире,
всматриваются с надеждой в музейную твердь,
а у девушек, под платьями, взрывчатка: С-4,
и если они влюбляются, то это — верная смерть.



МАНАС

Он бряцает на мандолине в Чуйской долине,
где у солнца лысина в бриолине,
иногда к нему приезжает Чингиз Айтматов —
налегке, без секьюрити и адвокатов.

Говорят, что это — Манас, друг Тохтамыша,
богатырь и поэт, переживший свою легенду,
у него караван гашиша и буддистская «крыша»,
а что еще надо, чтоб встретить старость
интеллекту?

Кушай конскую колбасу, вспоминай Пегаса,
проверяй на вшивость мобильник и жди приказа,
а когда он придет — вызывай на себя лавину,
человек дождя и йети наполовину.



* * *

Потеряется время в базарной толпе,
с кошельком прошмыгнет поговорка.
Что отмеряет райская птица тебе,
чем накормит сорока-воровка?

Пересохла гортань от черствеющих крох,
и зовет меня в новые греки —
этот ямб долговой, где сидит Архилох,
дважды кинутый по ипотеке.

Тополей узкогорлые амфоры я
запечатаю песней сургучной:
«Отплывай Терпсихора в чужие края,
не печалься о Греции скучной...»

Здесь цезуру (как стринги) не видно меж строк,
и блестит миноносец у пирса —
будто это у моря проколот пупок,
будто это встречают де Бирса.

Отплывай Терпсихора в чужие края,
позабудь беспределы Эллады,
и кому-то достанется нежность твоя,
от которой не будет пощады.



* * *

Итак, перед вами Итака, что-то вроде музея, до сих пор в древних чанах бродит полусухое вино, размышляя: «А вдруг я и вправду — кровь Одиссея, и меня пригласят на главную роль в кино?»

По другому сценарию (голос за кадром):

«... когда-то боги были очень рассеянными и в память об этом, они сотворили огромную страну и назвали ее — Россия, вернее — Рассея...»
камера наезжает: зрители, постепенно кося, ощущают крепленную патриотическую волну.

Окончательный сценарий, спущенный «сверху»:

История — это хитросплетение сонных веток оливы и маслянистая мякоть ее плода:
...жили-были два Одиссея, и так и эдак — они любили друг друга и ссорились иногда.

Один отсидел за разбой и убийства «двадцатку», другой, в беспредельных странствиях — 20 лет, подпольные боги сделали им пересадку сострадания и совести, а новых доноров нет.

Никаких Пенелоп, пчелиные мысли роятся, не ведая жалости, не признавая племен и рас.
«Жизнь — одна, — наставляя Гесиод царей-дароядцев, — и поэтому один раз — не пидорас, не пидорас...»

Камера наезжает: будущие древнегреческие герои повернулись спиной к зрителю, чешется хеппи-энд,

нам видны удивительные наковки: купола покоренной Трои,
и загадочные надписи, к примеру: «Посейдон — мент!»
Илиада — от слова «Ад», выбираешь — «Или»,
червонееет солнце, вмурованное в закат,
«Самое главное, что друг друга они любили...», —
это голос за кадром, голос за кадром, голос за кад...



* * *

Сны трофейные — брат стережет,
шмель гудит, цап-царапина жжет,
простокваша впервые прокисла.
Береженого — Бог бережет
от простуды и здравого смысла.

Мне б китайский в морщинках миндаль,
из гречишного меда — медаль,
никого не продавшие книги,
корабли, устремленные вдаль:
бригантины, корветы и бриги...

Мы выходим во тьму из огня,
ждем кентавра, что пьет «на коня»,
и доставит тропюю короткой
всех, пославших когда-то меня —
за бессмертьем, как будто за водкой.



* * *

И чиркает синичка-зажигалка,
и рукопись рассвета не горит,
холодного копчения русалка,
пивные пятна — это остров Крит.

А это мы — осматриваем крепость,
истории растягивая жгут,
какая благодарная нелепость:
на Крите — только критики живут.

Подвыпившие люди из приезжих,
они свистят на странном языке,
не оскверняй поэзию, не режь их,
ты обо мне подумай, дураке.



РУССКОЕ ПОЛЕ

Иван-чай допивает кофе и включает защитное поле — прозрачный купол на сотню гектаров, а то и больше, теперь: царапайся, бей кувалдой, стреляй, натирай мозоли — всем нерусским вход запрещен, особенно Мойше.

О, как чешутся корни, скручиваются от жажды листья, гусеницы и пчелы требуют церковную десятину, даже у солнца — рыжая шкура и хитрая морда лисья что-то вынюхивает и докладывает раввину.

Где вы, братья и сестры мои? Подорожник, полынь, ромашка, коровяк, мелиса, мята, пырей, — зову на помощь. Был еще пастернак, только с ним случилась промашка — рифмовал не к месту совсем бесполезный овощ.

Для него и смерть — овощной гарнир, и чуть дольше века длился день, облетели кавычки, плесните чаю, горизонт — зеленый дефис от растенья до человека, знал бы милый Мойша, как я по нему скучаю.



* * *

Путь в литературу — крошечный голод, вернее — долог: вчера еще юный автор, а сегодня он едва на ногах, жил при свете настольной лампы один филолог — критик, весьма влиятельный в определенных кругах.

Вместе с ним обитали: редкие аквариумные рыбки — в обыкновенной и слегка поповой воде, древний каширский кот — символ русской антиулыбки, два мастиффа: Альфонс и Доде.

Иногда здесь мелькали женщины, похожие на одну и ту же потрепанную кулинарную книгу: борщ, котлеты, компот..., о, семейный рюмин в губной помаде, бесстыжев, почти бестужев, след бермудского утюга, целлюлитный капот.

Он пояснял: «Без иерархии — нет парадигмы, развал системы...», юные поэтессы уточняли: «Иерархия — это фистинг или анал? У вас внутривенно или в «колесах» морфемы?» Филолог морщился и непечатный стон издавал.

А тут еще появился брутальный некто, банкир-расстрига, страстный любитель поэзии, не ведающий о том, что существует табель о рангах, высшая лига, а остальное — плебейский вакуум за бортом и за бортом.

Неустанно ведется поиск новых смыслов и грантов, а этот всех купил, основал литературный ТВ-канал, и начал двигать «дворняжек», провинциальных талантов: «Иерархия — это фистинг или анал?»

Беспредел продолжался, наш герой захирел, недолго прожил, и его зарыли в детской песочнице под Новый Год — два мастиффа, как будто их сочинил композитор Дога, а вселенную эту — придумал каширский кот.



* * *

Эзопово море — на пляже один человек,
не богоугодны его очертанья, лежит
в семейных трусах, на которых
осыпались чайные розы.

Вчера он входил по колено в Эзопово море —
теперь у него изумрудные гольфы
из ряски и тины,
крылатые крабы в седых волосах копошатся,
смешные косички плетут.
Подходим на цыпочках ближе:
покуда он спит, —
на правой щеке проступают
картежные масти. Вот — пики и треф,
а вот — бубны и черви. На левой —
тире, многоточья, пробелы...
похоже на Азбуку Морзе, читаем:
«Ну что ж, и последний мудак —
постепенно становится первым».

Он плачет во сне, потому что —
и ослик-хранитель, и ослик-вредитель
послали подальше его,
поскольку — проект безнадежен
и опыты прекращены.

Он пахнет прокисшим кагором и марихуаной,
вчерашним костром, беляшами с картошкой и луком,
развратом — так пахнет богема,
вернее, смердит, испускает, воняет...
Осыпались чайные розы!

Эзопово море, не пей человека, иначе —
Кабановым станешь,
Кабановым станешь,
Кабановым станешь.



* * *

Полусонной, сгоревшею спичкой
пахнет дырочка в нотном листе.
Я открою скрипичной отмычкой
инкерманское алиготе.

Вы услышите клекот грифона,
и с похмелья привидится вам:
запятую латунь саксофона
афро-ангел подносит к губам.

Это будет приморский поселок —
на солдатский обмылок похож.
Это будет поэту под сорок,
это будет прокрустова ложь.

Разминая мучное колено
пэтэушницы из Фермопил...
...помню виолончельное сено,
на котором ее полюбил.

Это будет забытое имя
и сольфеджио грубый помол.
Вот — ее виноградное вымя,
комсомольский значок уколел.

Вот — читаю молчанье о полку,
разрешаю подстричься стрижу,
и в субботу мелю кофемолку
и на сельскую церковь гляжу.

Чья секундная стрелка спешила
приговор принести на хвосте?
Это — я, это — пятка Ахилла,
это — дырочка в нотном листе.

ПРИКОСНОВЕНИЯ





* * *

Гули-гули в пространстве гулком,
в междуцарствии дворовом —
бродят голуби по окуркам,
пахнут белым сухим вином.

Как бомжиха в дырявом пледе,
чуть присыпанная песком, —
гололедица, гололеди:
не ходи на godiva.com.

Троеперстия мерзлых веток,
задубевшие письма,
а вокруг, из кирпичных клеток —
трехэтажная тишина.

Потому что иное Слово
приготовлено про запас:
для хорошего, для плохого,
для любви к одному из нас.



ПРИКОСНОВЕНИЯ

1.

Преступление входит в наказание,
и выходит ослик Буцефал,
детская игра в одно касание:
прикоснулся — и навек пропал.

И с тобой исчезли из лукошка:
белые гребные корабли,
но меж прутьев — завалилась крошка
не открытой до сих пор земли.

И с тобой исчезли безвозвратно:
свет и тьма, мятежный дух и плоть,
лишь остались мысли, ну и ладно,
рюмка водки, Господа щепоть,

страшный счет за Интернет (в конверте),
порванный билет на Motley Crue...
Говорю с тобою не о смерти,
о любви с тобою говорю.

2.

Желтый ноготь, конопляный Будда,
рваная нирвана на бегу —
ты меня соскабливаешь, будто
с телефонной карточки фольгу.

Чувствую серебряной спиною —
у любви надкусаны края,
слой за слоем, вот и подо мною
показалась девочка моя.



* * *

Поначалу апрель извлечен из прорех,
из пробоин в небесной котельной,
размножения знак, вычитания грех
и сложения крестик нательный.

Зацветет Мать-и-Матика этой земли:
раз-два-три-без-конца-и-без-края,
и над ней загудят молодые шмели,
оцифрованный вальс опыляя.

Калькулятор весны, расставания клей,
канцелярская синяя птица,
потому что любовь — совокупность нолей,
и в твоём животе — единица.



* * *

Непокорные космы дождя, заплетенные, как
растаманские дреды, и сорвана крышка с бульвара,
ты прозрачна, ты вся, будто римская сучка, в сосках,
на промокшей футболке грустит о тебе Че Гевара.

Не грусти, команданте, еще Алигьери в дыму,
круг за кругом спускается на карусельных оленях,
я тебя обниму, потому что ее обниму,
и похожа любовь на протертые джинсы в коленях.

Вспоминается Крым, сухпайковый, припрятанный страх,
собирали кизил и все время молчали о чем-то,
голышом загорали на пляже в песочных часах,
окруженные морем и птичьим стеклом горизонта.

И под нами песок шевелился и, вниз уходя,
устилал бытие на другой стороне мироздания:
там скрипит карусель, и пылают часы из дождя,
я служу в луна-парке твоим комиссаром катанья.



* * *

Пошатываясь после перепоя,
морские волны делают кульбит,
за что я был пожалован тобою
такую высшей слабостью — любить?

И осторожно из бутылки вынут,
и переписан, как сплошная ложь,
а волны, то нахлынут, то отхлынут,
не возразишь и на фиг не пошлешь.

Октябрь влачит пробитые запаски,
а в трейлере — прохладно и темно,
обнять тебя, читать стихи-раскраски,
смотреть в перегоревшее окно.

Мы состоим из напряженных линий,
сплошных помех и джазовых синкоп,
и плавает Феллини в клофелине,
и бьется в черно-белый кинескоп.



ЛОДКИ

1.

Из всех вещей советских напрокат
люблю прогулочные лодки:
оставишь паспорт под залог —
и ты свободен, брат,
не позабудь бутылку водки.

Когда в разгаре хладнокровный жор,
весна и поеданье снега,
любая лодка — это тренажер,
макет ковчега.

А значит я — диковинная тварь,
как соки-воды, мясо-рыба-птица:
скорей под переплет, в речной словарь,
истолковаться и переводиться.

О, весла, почему вас так зовут,
кто автор этого похмелья?
Какой-нибудь пещерный баламут,
ведь в веслах нет ни капельки веселья.

Ты пристаешь, уткнувшись в эпилог
и в берег, прорисованный небрежно:
«Прощай, мой паспорт под залог.
Целую, дорогой товарищ Брежнев...»

2.

Твои глаза, открытые понятно,
и губы, обведенные помадно,

на озере пустынно и прохладно,
а главное — на озере бесплатно.

То в зеркальце глядишь, то на природу,
то на меня, то в зеркальце опять,
и вот оно выскальзывает в воду,
и то-то-тонет, то-то-тонет, блядь.

Другое купим, но, представь, к примеру, —
зеркальный карп затеет с ним игру,
и зеркальце другую примет веру,
начнет метать зеркальную икру,

заигрывать с погибшим водолазом,
покуда мы в предложном падеже,
и то и дело пахнет Тинто Брассом,
и волосы — лобковые уже.



СТРЕКОЗА

Всегда считал, что стрекоза летает задом наперед,
что не глаза, а бедра у нее — без целлюлита.
О, если бы не этот страшный рот,
которым в прошлое она открыта.

А так, уметь — вот так, и вверх, и вниз —
без усталости и без запинки,
Да, я смотреть хочу, ловить сеанс, стриптиз —
сплошные родинки, чужбинки.



* * *

Почему-то грустит о Капри
раб мой, выдавленный по капле.
Накормил голубей в окошке —
раб мой, выщипанный по крошке.

И замешкался третий раб,
был пророком и вот — ослаб:
из себя, не щадя плетей,
выбивает святых людей.

И они на восток бегут.
— Партизан, — говорят, — зер гут!
Травят газом и трупы жгут.

А четвертый, последний смерд,
своенравен, жестокосерд,
ни покрышки ему, ни дна.
Вот поэтому ты — одна.



* * *

Пора открыть осеннюю канистру
и лету объявить переучет,
рояль в кустах съедает пианистку —
и по аллеям музыка течет.

Она течет, темна и нелюдима,
отравленная нежностью на треть,
и мы с тобой вдыхаем запах дыма,
заходим в парк и начинаем тлеть.

Твое молчанье светится молитвой
о городе из воска и сукна,
где мы с тобой, расписанные бритвой,
еще видны в малевиче окна.



* * *

Есть в слове «ресторан» болезненное что-то:
«ре» — предположим режущая нота,
«сторан» — понятно — сто душевных ран.
Но, почему-то заглянуть охота
в ближайший ресторан.

Порой мы сами на слова клеветаем,
но, Господи, как хочется словам —
обозначать совсем иные вещи,
испытывать иные чувства к нам,
и новое сказать о человеке,
не выпустить его из хищных лап,
пусть цирковые тигры спят в аптеке,
в аптеке, потому что: «Ап!»

У темноты — черничный привкус мела,
у пустоты — двуспальная кровать,
«любовь» — мне это слово надоело,
но, сам процесс прошу не прерывать.



* * *

Стихи о дожде — из воды:
по капле согласных и гласных,
согласных на то, чтоб труды
мои не пропали напрасно.

Когда ударения ждут
и требуют кровельной жести,
когда вдохновение жгут
и лепят из мяса и шерсти.

Взлетай, зарывайся, плыви
и слушай гортанную реку,
стихи о тебе — из любви
к другому совсем человеку.



* * *

Это не горение, это говорение
фонарей на древнем языке,
это сострадание и ночное зрение
с челобитной флешкою в руке.

Подворотни кашляют и воняют кошками,
и слепая девочка тростью на снегу
нарисует чертика с рожками и ножками —
я такому чертику выжить помогу.



* * *

Я тебе из Парижа привез
деревянную сволочь:
кубик-любик для плотских утех,
там внутри — золотые занозы,
и в полночь — можжевеловый смех.

А снаружи — постельные позы
демонстрируют нам
два смешных человечка,
у которых отсутствует срам
и, похоже, аптечка.

Вот и любят друг друга они,
от восторга к удушью,
постоянно одни и одни,
прорисованы тушью.

Я глазею на них, как дурак,
и верчу головою,
потому что вот так и вот так
не расстанусь с тобой.



* * *

Это люди особой породы,
это люди особой судьбы:
на подмостках — сезон Квазимоды,
замурованы крылья в горбы.

Спотыкаясь в невидимых латах
под дождем из одних запятых,
это время, когда бесноватых —
тяжело отличить от святых,

И мутит от церковной попойки
там, где смешана с кровью кутья,
это время бессмысленной кройки,
и уже не дождаться шитья.

Вдохновенье в неровную строчку
и любовь в шутовских ярлыках —
вот и режут ее по кусочку
и уносят в своих рюкзаках.



ЖИРАПСКИЕ ТЕКСТЫ

Володе Костельману

1.

Монмартр, Мон Апрель, Мон Май —
на бирках весны — Китай,
французский идет мужчина,
в промежности: «Made in China».

Бессмертие — не вопрос,
лобзаю тебя в кювет,
и мой темнофор подрост,
и твой свежесвыжат свет.

Преодолев сверхзвук,
зайду в овощной бутик:
в корзинах — латук: тук-тук,
на кассе — шахид: тик-тик.

2.

Загружаю в себя охренительный вирус:
СПИД весенний Париж,
дремлет в Лувре папирус
и во тьме обнимает мамирус.
Эти эндшпили крыш,
удлиненные тени натурщиц подобны зевоте,
и гусары молчат в анекдоте.

Загружаю в себя кальвадос,
пахнет яблоком эта невинность,
а бессмертие — нет, не вопрос,
запотевшие windows.

В них быкующий Зевс-брадобрей,
луврианец, наверно,
перекресток миров, и парижский еврей,
не спеша, переходит на евро.



* * *

В каком парижском пепельном году,
о чем пищали устрицы на ужин?
Лувр сделал свое дело. Помпиду
оголубел, и должен быть разрушен.

Ходили друг у друга в двойниках,
впадали в сумасбродство и немилость,
в прокисший сидр, и др., и др. — никак
сожженное такси не заводилось.

Тогда в Париже бастовали все:
полиция, студенты, адвокаты,
диспетчеры на взлетной полосе
и облака — сплошные баррикады.

Волненья стихли, и опять рокфор
на gue Madame воняет превосходно,
И только Бог — бастует до сих пор,
но, видимо, так Господу угодно.



* * *

Произносишь ее про себя и чувствуешь привкус меди:
провода, ты сегодня под напряжением, нет?
длинная по слогам, рыжая, как медведи —
сплюснутые и растянутые на тысячу лет.

Если справа налево бежит электрический ток,
это значит, навстречу ему — перепуганный сфинкс,
в восклицательном знаке — у птички увяз коготок,
это значит, без света останутся Киев и Минск.

220 вольт, замыкание, переписка Вольтера с Екатериной,
и плевать, что станешь горелым мясом, стеклом, резиной,
на 12 тайных ампер накрыта в тебе вечеря,
водишь пальцем, читаешь, в счастье свое не веря.



* * *

Николай Васильевич Голем
сочиняет еврейский horror,
в перерывах гуляет голым,
накрахмаленный, будто повар.

Скажет: «Пр-р» — замирает Прага —
перепуганная коняга,
он ведет ее под уздцы.
Карлов мост на краю бокала,
для туристов (от папы Карла) —
деревянные мертвецы.

Николай Васильевич Голем,
воздух шахматным пахнет полем,
и за что не возьмись — беги!
Здесь у каждой второй нимфетки
черно-белые яйцеклетки,
скороходные сапоги.

Махаралю на дискотеке
золотые поднимет веки,
папиросу набьет «травой»,
и раввин в конопляном дыме
мне на лбу начертает имя
и прочтет по слогам: «Жи-вой».



* * *

Укоряй меня, милая корюшка,
убаюкивай рыбной игрой,
я шатаюсь, набитый до горюшка,
золотой стихотворной икрой.

Это стерео, это монахиня,
тишину подсекает сверчок,
золотой поплавок Исаакия,
Сатаны саблезубый крючок.

Дай мне, корюшка, мысли высокие,
говори и молчи надо мной,
заплутал в петербургской осоке я,
перепутал матрас надувной.

Вот насмертка моя — путеводная,
вот наживка моя — уголек,
кушай, корюшка, девочка родная,
улыбнулся и к сердцу привлек.



* * *

Саше Колесову

Меня втаскивали волоком,
говорили: иначе — смерть,
будто я — царь-Колокол,
а внутри меня — колокольчик Смерд,
а внутри меня — Самурай-вода,
желтый город Владивосток,
в дирижерских палочках там еда,
на плечах — собачий платок.

Стынет рисовый шарик — опять луна,
поменяйте это меню,
почему в нем жизнь до сих пор — одна?
Нет, я повара не виню.
И отныне присно, в твоих веках
дребезжит мобильное зло,
вся в чешуйках черных и номерках:
золотая рыбка, алло!

Колокольчик Смерд, записной фагот,
медных камешков полон рот.
А меня переправят на берег тот,
переплавят на берег тот.



* * *

В царапинах мулатовое небо, и шторм затих,
бывают дни, когда любить — не вредно,
вся похоть на земле, весь этот стих,
и пальмы веером конкретно.

Славянский люд, покинув корабли,
ломает мебель и тоскует хором,
а на десерт — пакетик конопли
вприкуску с «Беломором».

Так припекло, и время 00 сек.,
затылок щупая оранжевой клешней,
садится солнце, как бывалый зек —
на корточки, у Бога за душой.

Почти на полумертвом голясы,
туземцы изготавливают блюдо:
запихивают курицу — в гуся,
гуся — в овцу, овечку — внутрь верблюда.

Чтоб насадить на раскаленный прут,
затем, в песок упрятать поскорее,
и переждать, пока не уплывут
все русские, и, может быть, евреи.



* * *

Маслянистая рыба спина,
в чешуе тополиная корона,
а над ней — западает луна,
будто кнопка аккордеона.

Вот и будем бухать до весны,
у природы обильное лоно,
если ты — полиглот тишины,
значит, я — переводчик Харона.

Освещает похмельные сны —
к табурету примерзшая кружка,
это — сало в прожилках мясных,
или снег и кровавая юшка?

Будем петь о любви напролет,
петь и гладить приبلудную кошку,
самогонный растапливать лед,
целоваться с тобой на дорожку.



* * *

Длинная лапка у божьей коровки,
я поднимаюсь по ней без страховки,
цельную вечность готовился взлет,
слышу, как божья коровка поет:

*«Крайний человечек, полети на небо,
дам тебе за это неразменный грошик,
две бутылки водки и осьмушку хлеба,
зажигалку «Zippo», сигарет хороших.
Полети на небо к своему прорабу,
поинтересуйся: «Как вы тут живете?»,
дам тебе за это — надувную бабу,
«Робинзона Крузо» в твердом переплете.
В память о полете красные коровки
будут плавать брассом, бегать стометровки,
белые коровки в память о России
сочинят поэму для коровок синих.
Мы своих артистов и своих ученых
выдадим по капле из коровок черных.
На земле у счастья — никакого шанса,
улетай на небо и не возвращайся!»*



* * *

Вязнет колокол, мерзнет звонарь,
воздух — в красных прожилках янтарь,
подарите мне эту камео
и проденьте цыганскую нить,
я не знаю, по ком мне звонить,
и молчать по тебе не умею.

Пусть на этой камее — живут,
и за стенкой стучит «Ундервуд»,
пусть на ней зацветает картофель,
и готовит малиновый грог —
так похожий на женщину Бог,
на любимую женщину в профиль.



* * *

За то, что этот сад переживет века,
и не осыплется минута за минутой,
возьми его за яблочко и придуши слегка,
в гнедую кожуру по осени укутай.

Плоды айвы, покрытые пушком,
как щеки детские — полны и розоваты,
и ты бежишь с отцовским вещмешком,
и вновь трещат от тяжести заплаты.

Когда стреляет Босх Иероним
двуствольной кистью в голову и спину,
а ты бежишь, с рождения раним, —
вишневый и седой наполовину.

И за оградой — вновь увидишь сад,
увидишь дом и ангельские лица
всех брошенных тобою, невпопад
варенье пишется и в баночках хранится.



* * *

День ацтеков, середина мая,
вдоль музея им. Сковороды
пятится машина поливная,
распушив павлиний хвост воды.

Вот и я под этот хвост прилягу,
выключив похмельные глаза,
но, опять протягивает флягу
добрый доктор Дима Легеза.

Это виски, револьверный виски,
солодовый привкус на устах,
женский смех, переходящий в визг и
стоны в облепиховых кустах.

Проплывают памятники в мыле,
и висят мочалки облаков,
день ацтеков, и они — любили,
приносили в жертву стариков.



* * *

Мумия винограда — это изюм, изюм,
эхо у водопада, будто Дюран-Дюран,
мальчик за ноутбуком весь преисполнен «Doom»,
ну, а Господь, по слухам, не выполняет план.

Прямо из секунд-хенда вваливается год,
вот и любовь-аренда, птичьи мои права,
прапорщик бородатый вспомнился анекдот,
лезвие бреет дважды — это «Нева-Нева».

Старый почтовый ящик, соросовский ленд-лиз
для мертвецов входящих и исходящих из
снежного полумрака этих ночных минут.
Что ты глядишь, собака? Трафик тебя зовут.



* * *

Снег в нетерпении прядет ушами
и мерзлую калину ест,
а всадник на балкон выходит при пижаме,
хозяин здешних мест.

И вот, перемахнув через перила,
он прыгает в седло,
в его руке вибрирует «моби́ла»:
«Кто говорит? Алло!»

Вокруг — глубокие следы побелки,
и в крапинку пожарный щит,
он говорит: «О'кей, забейте стрелки...»
и снег спешит,

проламывая грудь виногра́дник,
спешит на Рождество,
и постепенно бронзовеет всадник —
врастающий в него.



* * *

Тихо, как на дне Титаника,
время — из морских узлов.
Деревенская ботаника:
сабельник, болиголов.

Подорожник в рыжей копоти,
добродушный зверобой —
ни предательства, ни похоти,
дождь и воздух кусковой.

Вот, в тельняшке кто-то движется,
улыбается в усы.
Все острее и ближе слышится
серебристый свист косы.

Мусульмане и католики,
православные и не...
Ждут нас розовые кролики,
с батарейками в спине!



* * *

Всадники Потешного Суда —
клоуны, шуты и скоморохи,
это — кубик, это — рубик льда:
не собрать, ни разобрать эпохи.

Сахар-сахар, что же ты — песок,
и не кровь, а кетчуп на ладони?
Вот архангел пригубил свисток,
и заржали цирковые пони.

Вот и мы, на разные лады
тишину отпили и отпели.
И пускай на небе ни звезды —
я хотел бы жить в таком отеле.

Из-за крыльев — спать на животе,
слушать звон московских колоколен,
несмотря на то, что наш Портъё —
глуховат и мною не доволен.



* * *

Группе «Ремонт Воды»

Это осень сверкает нашивками,
прорастает бамбук из костра,
больно очень, когда над ошибками
в штыковую работать пора.

Далеко обезьяне до дембеля,
и покою не снится покой,
здесь иная замешана темпера,
темперамент такой.

И луна опустевшую флягою
прикорнула на черном бедре,
это осень терпеть над бумагою,
предаваться любви и хандре.

И склонясь над колодцем в незнании,
что растет в глубину — не вода,
а последняя башня в Танзании,
над которой восходит звезда.



* * *

Алексею Цветкову

Я этот договор когда-нибудь нарушу,
глубокий холм, высокий мой овраг,
и вывернут бурьян подкладкою наружу,
не отыскать печатей и бумаг.

Почувствуешь подлог, роскошную подделку,
и правду голую, так истинно ебут,
а на губах, когда целуешь девку, —
штормящий вкус земли и корабельный бунт.

Мерцает покаянный свет в каютах,
Державин суетится у плиты,
а нам еще своих крысят баюкать,
восстав из колыбельной темноты.

Едва прозрев, мы сразу окосели:
а ну-ка, кто здесь временные, слазы!
...и жизнь — цветет, не ведая доселе,
в кого она такая удалась?



* * *

Разбежались все мои напарники,
и литературная свинья —
при лучине, в крепостном свинарнике —
вышивает бисером меня.

Белые, оранжевые, синие...
бисеринки — пластик и металл,
я их с малолетства перед свиньями
с беспризорной меткостью метал.

Мне хавронья предлагает выпивку,
порося в сметане, холодец,
ну-ка, посмотри на эту вышивку,
словочерпий, баловень, гордец.

Там, на фоне скотобойной радуги,
будто бы в реальности иной,
это я смеюсь в багровом фартуке
и сжимаю швайку за спиной.



* * *

Окончить Институт
петли и подоконника,
пускай стихи растут,
как ногти у покойника.

И в том, что ты — поэт,
существенная выгода,
когда любой ответ
не оставляет выхода.



* * *

Это небо не для галочки,
а для ласточки в пике,
хвойный лес — одет с иголочки,
жук сползает по строке.

Это страшная считалочка
на арбатском языке,
люди — леденцы на палочках
у бессмертия в руке.



* * *

Соединялись пролетарии,
и пролетали истребители,
волхвы скучали в планетарии,
и ссорились мои родители.

И все на свете было рядышком:
детсад, завод после аварии,
тюрьма, и снег в чернильных пятнышках —
прямо из небесной канцелярии,

военкомат от кавалерии,
погост, а дальше — снег кончается,
лепили далматинцев, верили,
что жизнь собачья получается.

И мы осваивали стенопись:
знак равенства в любви неправильный,
а дальше — нежность или ненависть,
и мой сырок со мною плавленный.



Всходят звездочки над стишком:

мы с тобой из кина пешком,
возвращаемся до сих пор,
а навстречу — маньяк с мешком,
а в мешке у него — топор.

Он родился в Череповце,
специально приехал в Крым,
чтоб настигнуть нас в пункте С:
«Добрый вечер. Поговорим?»

Мы не долго будем кричать,
орошая кровью кусты,
и о нас напишет печать,
и объявят в розыск менты.

А могли бы встретить волхва
и всю жизнь рассказывать, как
появились на свет слова,
ветер, звезды и наш маньяк.

А теперь гадай: из мешка?
Из бездонного Ничего?
Хорошо, что ночь коротка —
бесконечен список его.



ПУНКТЫ

а) Репетитор душу вынимает;
б) Репетитор впрыскивает йод.
И, если человек не понимает, —
берет линейку и по шее бьет.

в) Человек от униженья плачет,
рифмует слезы на щеках земли.
г) Удобренье — ничего не значит,
а потому что розы отцвели.

В.И. Вернадский, ангел ноосферы,
квадратный вентиль выкрутит в нули:
не потому, что не хватает веры,
а потому, что розы отцвели.



* * *

А мы — темны, как будто перекаты
ночной воды по свиткам бересты,
и наш Господь растаскан на цикады,
на звезды, на овраги и кусты.

Затягиваясь будущим и прошлым,
покашливает время при ходьбе,
поставлен крест и первый камень брошен,
и с благодарностью летит к Тебе.

Сквозь вакуум в стеклянном коридоре,
нагнав раскосых всадников в степи,
сквозь память детскую, сквозь щелочку в заборе,
невыносимо терпкое «терпи».

Вот море в зубчиках, прихваченных лазурью,
почтовой маркой клеится к судьбе,
я в пионерском лагере дежурю,
а этот камень все летит к Тебе.

Сквозь деканат (здесь пауза-реклама),
сквозь девочку, одетую легко,
сквозь камуфляж потомственного хама,
грядущего в сержанте Головко.

И облаков припудренные лица
в окладах осени взирают тяжело,
я в блог входил — на юзерпик молиться,
мне красным воском губы обожгло.

Остановить — протягиваю руку,
недосягаем и неумолим
булыжный камень, что летит по кругу:
спешит вернуться в Иерусалим.



ДРОБЬ

Дорогие ослепшие зрители
и дешевые оптом читатели,
если утка взлетела в числителе,
значит, утку убьют в знаменателе.

Всё чужое — выходит из нашего
и опять погружается в топь,
в дикий воздух, простреленный заживо:
поцелуешь — и выплунешь дробь.

От последнего к самому первому
ты бежишь с земляникой во рту
и проводишь губами по белому —
непрерывную эту черту.



* * *

До библейское, Ре бобруйское, Ми
фическое имя ее на ощупь — Фасоль,
она ужинает богами и завтракает людьми,
она принимает в таблетках чужую боль.

Мясорыбное тело ее всплывает из высоты,
открывается бронзовый рот — вот и вся тюрьма,
подходи поближе, тогда и услышишь ты,
как в мешках под ее глазами мяукает тьма.

Птицехлебное тело ее погружается в Си
мулякр, поскрипывая не смазанной запятой,
отдохни, прописная истина на фарси,
на горшке с надпиленной ручкою золотой.

В бесконечной матрешке, за слоем слой,
обрастая нотами, буквами и золой:
но, вначале — перьями и чешуей,
и внутри меня — Иона, еще живой,

что-то пишет кетчупом на стене,
если в сердце рукопись не горит,
надо мною музыка — вся в огне,
а внутри Ионы — последний кит.



* * *

Как церковно-славянская книжица,
заповедная роща теперь:
от мороза поежилась ижица,
в буреломе ощерился ерь.

Борода не отросшая колется,
и лесник, к снегопаду успев,
водит пальцем по снегу и молится,
и читает следы нараспев.



* * *

Спасением обязанный кефиру,
в таблетках принимая упарсин,
не знаешь ты, как трудно быть вампиру —
садовником, певцом родных осин.

Не будет ни прощенья, ни оклада —
сплошная ночь, змеиный шелест книг,
подкованная, в яблоках ограда,
зубовный скрежет лютиков цепных.

Покинув коктейбельские таверны,
бредет людей опухшее зверье,
когда портвейном из яремной вены
я запиваю прошлое свое.

Сомнения скрипящие ступени,
и на тебя, Аркадий Дохляков,
грядущее отбрасывает тени
багровые: от крыльев до клыков.

Сии клыки вонзаются в Европу,
и в горле — ком, и в Интернете — кал,
и только слышно, как по гороскопу —
единорогий овен проскакал.



РОЖДЕСТВЕНСКОЕ

Окраина империи моей,
приходит время выбирать царей,
и каждый новый царь — не лучше и не хуже.
Подшевеет воск, подорожает драп,
оттает в телевизоре сатрап,
такой, как ты — внутри,
такой, как я — снаружи.

Когда он говорит: на свете счастье есть,
он начинает это счастье — есть,
а дальше — многоточие хлопушек...
Ты за окном салют не выключай,
и память, словно краснодарский чай,
и тишина — варенье из лягушек.

По ком молчит рождественский звонарь?
России был и будет нужен царь,
который эту лавочку прикроет.
И ожидает тех, кто не умрёт:
пивной сарай, маршрутный звездолёт,
завод кирпичный имени «Pink Floyd».

Подраненное яблоко-ранет.
Кто возразит, что счастья в мире нет,
и остановит женщину на склоне?
Хотел бы написать: на склоне лет,
но, это холм, но это — снег и свет,
и это Бог ворочается в лоне.



ВОЛХВЫ

Ладно, золотце, ладно,
смирно, золотце, смирно,
разговоры в строю!
Повернули обратно,
напевая нескладно:
«Нарру бездна to you,
harry бездна to you...»



* * *

Мы так долго живем, погруженные в чудо,
будто в бочку на заднем дворе,
к нам приходит подводный апостол Иуда,
акваланги его — в янтаре.

Говорит, собирайтесь в дорогу, длиною
в 40 тысяч мучительных лье,
и фонарик включил, и раскрыл предо мною —
от Жюль Верна Евангелие.

Вы, товарищи, темные в этих вопросах,
сомневаться и медлить нельзя,
вот вам шахматный хлеб и резиновый посох,
вот протоптана мною стезя.

Пузырьки выпуская, качалось кадило...
Рассчитайтесь на первый-второй!
Дефицитное солнце над нами всходило,
словно баночка с черной икрой...

...до сих пор продолжается это скитанье
по следам от раздвоенных ласт.
Почему он спросил: «Кто из вас на прощанье
поцелует меня и предаст?»



* * *

Вот кузнечик выпрыгнул из скобок
в палиндром аквариумных рыбок.
Я предпочитаю метод пробок,
винных пробок и своих ошибок.

Сизая бетонная мешалка,
а внутри нее — оранжерея,
этот мир любить совсем не жалко —
вот Господь и любит, не жалея.



ЗИМНИЙ ПРИЗЫВ

1.

Теперь призывают в армию по-другому:
сначала строят военную базу поближе к дому,
проводят газ, электричество, тестируют туалет,
ждут, когда тебе стукнет восемнадцать лет.
И тогда они приезжают на гусеничных салазках,
в караульных тулупах и в карнавальных масках.
Санта-прапорщик (сапоги от коренного зуба)
колетса бородой, уговаривает: «Собирайся, голуба,
нынче на ужин — с капустой пироги...
жаль, что в правительстве окопались враги...»
Именную откроешь флягу, примешь на грудь присягу,
покланешься, что без приказа — домой ни шагу.

2.

А вот раньше — был совсем другой разговор:
тщательный медосмотр через секретный прибор —
чудовищную машину, размером с военкомат,
чье гудение — марсианский трехэтажный мат,
пучеглазые лампы, эмалированные бока,
тумблеры, будто зубчики чеснока...

...Тех, в чем мать родила — отводили на правый фланг,
тех, в чем отец — оттаскивали на левый фланг,
и всем, по очереди, вставляли прозрачный шланг:
славянам — в рот, ну а чуркам — в задний проход,
набирали идентификационный код,
вспыхивал монитор, и вслед за бегущей строкой
всем становилось ясно: откуда ты взялся такой.

О, сержант Махметов, не плачь, вспоминая как,
ты сжимал приснопамятный шланг в руках.
потому что увидел казахскую степь, а потом —
свою маму — верблюдицу с распоротым животом,
перочинным младенцем на снег выползаешь ты,
шевелия губами неслыханной остроты:
«Говорит, горит и показывает Москва...»
Потому тебя и призвали в пожарные войска.

ИЗ ЦИКЛА
«ПРИБОРЫ БЫТИЯ»





* * *

Мне подарила одна маленькая воинственная страна
газовую плиту от фирмы «Неопалимая Купина»:
по бокам у нее — стереофонические колонки,
а в духовке — пепел, хрупкие кости, зубные коронки,
и теперь уже не докажешь, чья это вина.

Если строго по инструкции, то обычный омлет,
на такой плите готовится сорок пустынных лет:
всеми брошен и предан, безумный седой ребенок,
ты шагаешь на месте, чуешь, как подгорает свет
и суровый Голос кровотоцит из колонок.



* * *

Захару Прилепину

Файл стерпит больше, чем бумага,
под свист щербатых флейт —
везет призывника отцовская коняга,
а там, в Чечне — delete.

Подташнивает Збруеву Надежду,
а ей шестнадцатый минует год,
так сладко и тепло — внутри и между,
она поглаживает свой живот,

закуривает и глядит сердечно,
как сахар, — растворяется в толпе:
прощай, прощай, мой милый, бесконечно,
а дальше — БМП и tmp.



2041 г.

На премьерe, в блокадном Нью-Йорке,
в свете грустной победы над злом —
черный Бродский сбегает с галёрки,
отбиваясь галерным веслом.

Он поет про гудзонские волны,
про княжну. (Про какую княжну?)
И облезлые воют валторны
на фанерную в дырках луну.

И ему подпевает, фальшивя,
в високосном последнем ряду
однорукий фарфоровый Шива —
старший прапорщик из Катманду:
«У меня на ладони синица —
тяжелей рукояти клинка...»

...Будто это Гамзатову снится,
что летят журавли табака.
И багровые струи кумыса
переполнили жизнь до краев.

И ничейная бабочка смысла
заползает под сердце мое.



* * *

Между Первой и Второй мировой —
перерывчик небольшой, небольшой,
ну, а третья громыхнет за горой,
а четвертая дыхнет анашой.

Не снимай противогаз, Гюльчатай,
и убитых, и живых не считай,
заскучает о тебе все сильнее —
черный бластер под подушкой моей.

Приходи ко мне в блиндаж, на кровать,
буду, буду убивать, целовать,
колыбельную тебе напевать,
а на прошлое, дружок, наплевать.

Потому, что между первой-второй,
между третьей и четвертой игрой,
между пятой и шестой «на коня»,
ты прошепчешь: «Не кончайте в меня...»

Перестанет истребитель кружить,
как бы это, не кончая, прожить?
Позабудут цикламены цвести,
после смерти — не кончают, прости.



* * *

Пускай ты — глупая блондинка,
прошедших уровней не жалко,
Любовь — по-прежнему «бродилка»
и бесконечная «стрелялка»,

«стратегия», в которой крейсер
лишен защитных оболочек...
Как много устаревших версий,
о, Разработчик!

И я искал свои аптечки,
мочил инопланетных гадов —
у черной марсианской речки
с базукою и в бакенбардах.

В плену у ядовитых слизней,
не плачь, Наташа Гончарова,
моя игра — длиннее жизни
и, может быть, честнее слова.



НАЕМНИКИ

1.

Пристрою на свои колени что-нибудь пушистое, живое:
щенка «афганца», персидскую кошку, ребенка с другой планеты,
буду гладить, сюсюкая: «Теперь нас двое,
полетели, разогревать котлеты...»

Мой молчаливый друг, маленький иноверец,
будем готовить ужин или спасать планету?
Пусть в наших дюзах сгорает кайенский перец,
пусть надвигается тьма со скоростью света.

Можно любое чудо призвать к порядку,
счастье в анабиозе — синее, как жар-птица,
вакуумные полуфабрикаты, тухлые звезды всмятку,
нечеловеческая музыка льется и чуть дымится.

Выйдем на мостик, «салаге» намылим холку,
метеорит перекрестим лазерной пушкой,
вот, полюбуйся — штурман выносит елку
прямо в открытый космос, вперед макушкой.

2.

На черной тумбочке — луна,
презервативами полна,
а в тумбочке идет война,
и кровью харкает зурна —
убитых до хрена.

А кто живой, стоит на том,
где Лермонтова третий том,

а рядом в клеточку тетрадь,
и можно в бой морской играть.
На самой нижней полке — ад,
носков нестиранных парад,
инструкция к системе «Град»
и газават.

Хозяин тумбочки уснул,
он видит горы и аул,
он слышит вертолетный гул.
течет река Киндзмараул...

А рядом с ним не спит жена —
она у русских спижжена.



* * *

На сетчатках стрекоз чешуилось окно,
ветер чистил вишнёвые лапы.
Парусиною пахло и было темно,
как внутри керосиновой лампы.
Позабыв отсыревшие спички сверчков,
розы ссадин и сладости юга,
дети спали в саду, не разжав кулачков,
но уже обнимая друг друга...
Золотилась терраса орехом перил,
и, мундирчик на плечи набросив,
над покинутым домом архангел парил...
Что вам снилось, Адольф и Иосиф?



* * *

как его звать не помню варварский грязный город
он посылал на приступ армии саранчи
семь водяных драконов неисчислимый голод
помню что на подушке вынес ему ключи

город в меня ввалился с грохотом колесницы
пьяные пехотинцы лучники трубачи
помню в котле варился помню клевали птицы
этот бульон из крови копоты и мочи

город меня разрушил город меня отстроил
местной библиотекой вырвали мне язык
город когда-то звали Ольвия или Троя
Санкт-Петербург Неаполь станция Кагарлык

там где мосты играют на подкидного в спички
город где с женским полом путают потолки
на запасной подушке вынес ему отмычки
все мое тело нынче сейфовые замки

и заключив в кавычки город меня оставил
можно любую дату вписывать между строк
кто то сказал что вера это любовь без правил
видимо провокатор или Илья пророк

а на душе потемки чище помпейской сажи
за колбасою конской очередь буквой г
помню как с чемоданом входит Кабанов Саша
на чемодане надпись Дембель ГСВГ*.

* ГСВГ — Группа Советских Войск в Германии.

ТАЛИСМАННЫЕ ТЕКСТЫ

ИЗ КНИГИ В КНИГУ





ОТПЛЫВАЮЩИМ

Над пожарным щитом говорю: дорогая река,
расскажи мне о том, как проходят таможеню века,
что у них в чемоданах, какие у них паспорта,
в голубых амстердамах чем пахнет у них изо рта?

Мы озябшие дети, наследники птичьих кровей,
в проспиритованной Лете — ворованных режем коней.
Нам клопы о циклопах поют государственный гимн,
нам в писательских жопах провозят в Москву героин.

Я поймаю тебя в проходящей толпе облаков
на живца октября, на блесну из бессмертных стихов,
прямо — из женского рода! Хватило бы наверняка
мне в чернильнице — йода, в Царицыно — березняка.

Пусть охрипший трамвайчик на винт наматывает судьбу,
пусть бутылочный мальчик сыграет «про ящик» в трубу!
Победили ни зло, ни добро, ни любовь, ни стихи...
Просто — время пришло, и Господь — отпускает грехи.

Чтоб и далее плыть на особенный свет вдалеке,
в одиночестве стыть, но теперь — налегке, налегке.
Ускользая в зарю, до зарезу не зная о чем, я тебе говорю,
почему укрываю плащом...



МОСТЫ

1.

Лишенный глухоты и слепоты,
я шепотом выращивал мосты —
меж двух отчизн, которым я не нужен.
Поэзия — ордынский мой ярлык,
мой колокол, мой вырванный язык;
на чьей земле я буду обнаружен?
В какое поколение меня
швырнет литературная возня?
Да будет разум светел и спокоен.
Я изучаю смысл родимых сфер:
пусть зрение мое — в один Гомер,
пускай мой слух — всего в один Бетховен.

2.

Слюною ласточки и чирканьем стрижа
над головой содержится душа
и следует за мною неотступно.
И сон тягуч, колхиден. И назло
Мне простыня — галерное весло:
тяну к себе, осваиваю тупо.
С чужих хлебов и Родина — преступна;
над нею пешеходные мосты
растают в землю с птичьей высоты!
Душа моя, тебе не хватит духа:
темным-темно, и музыка — взашей,
но в этом положении вещей
есть ностальгия зрения и слуха!



* * *

Жил да был человек настоящий,
если хочешь, о нем напиши:
он бродил с головнею горячей,
спотыкаясь в потемках души.

По стране, постранично, построчно
он бродил от тебя — до меня,
называющий родиной то, что
освещает его головня:

...ускользающий пульс краснотала,
в «Рио-Риту» влюбленный конвой.
И не то, чтоб ее не хватало —
этой родины хватит с лихвой.

Будет видео фильма вандамить,
будет шахом и матом Корчной,
и по-прежнему — девичья память
незабудкою пахнуть ночной.

Будет биться на счастье посуда,
и на полке дремать Геродот,
Даже родина будет, покуда —
Человек с головнею бредет.



ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ

Щебеталь моя, щепетиль,
видно, не в чудовище — корм:
ветреные девушки — в штиль,
шторы полосатые — в шторм...

Мы сидим, колени обняв,
наблюдаем гибель миров:
нет ни темноты, ни огня,
полное отсутствие дров.

Гонорея прожитых лет,
ни стихов, ни денег, ни-ни...
Помнишь, я ходил в Интернет?
Нет его. Теперь мы одни.

Вычеркнут Васильевский твой
и Подол задрипанный мой!
И еще поет, как живой,
на сидишном плэйере — Цой.

Некому теперь подражать.
Некого теперь побеждать.
Значит, будем деток рожать
и Его Пришествия ждать.

Где теперь мое комильфо?
Хорошо, что нет неглиже!
Был такой прозаик — Дефо,
он писал о русской душе.

Плакал средь тропических ив,
островное трахая чмо.
Вот и я, бутылку допив,
отправляю это письмо.



* * *

Бахыту

Над Марсовым полем — звезды керосиновый свет,
защитная охра, потертый вишневый вельвет.
Идешь и не плачешь, не плачешь, не плачешь, не пла...
...из холода, солода и привозного тепла.

Еще Инженерного — дынный не виден фасад,
и жизнь одинока, и это она — наугад
меня выбирала, копаясь в кошачьем мешке,
без всяческих выгод, не зная об этом стишке.

Когтистая музыка, книжное перевранье,
попробуйте, твари, отклеить меня от нее!
Попробуйте звукопись, летопись, львиные рвы,
салат Эрмитажа, селечный отблеск Невы!

Нас, может быть, трое на Марсовом поле: пастух,
и мячик футбольный, в кустах испускающий дух.
Забывтый, забитый — в чужие ворота, и тот,
который звезду над воинственным полем пасет.

Петром привезенный, с Кенжеевым накоротке,
пастух-африканец, сжимающий пряник в руке.

На Марсовом поле — трофейный горчит шоколад,
и смерть — одинока, и это она — наугад
ко мне прикоснулась, и больше не тронула, нет.
А лишь погасила звезды керосиновый свет.



* * *

Открывая амбарную книгу зимы,
снег заносит в нее скрупулезно:
ржавый плуг, потемневшие в холках — холмы,
и тебя, моя радость, по-слезно...

...пьяный в доску забор, от ворот поворот,
баню с видом на крымское утро.
Снег заносит: мычащий, некормленный скот,
наше счастье и прочую утварь.

И на зов счетовода летят из углов —
топоры, плоскогубцы и клещи...
Снег заносит: кацапов, жидов и хохлов —
и другие нехитрые вещи.

Снег заносит, уснувшее в норах зверье,
след посланца с недоброю вестью.
И от вечного холода сердце мое
покрывается воском и шерстью.

Одинаковым почерком занесены
монастырь и нечистая сила,
будто все — не умрут, будто все — спасены,
а проснешься — исчезнут чернила.



* * *

Напой мне, Родина, дамасскими губами
в овраге темно-синем о стрижах.
Как сбиты в кровь слова! Как срезаны мы с вами —
за истину в предложных падежах!

Что истина, когда — не признавая торго,
скрывала от меня и от тебя
слезинки вдохновенья и восторга
спецназовская маска бытия.

Оставь меня в саду на берегу колодца,
за пазухой Господней, в лебеде...
Где жжется рукопись, где яростно живет
на Хлебникове и воде.



* * *

Облака под землей — это корни кустов и деревьев:
кучевые — акация, перистые — алыча,
грозовые — терновник, в котором Григорий Отрепьев,
и от слез у него путеводная меркнет свеча.

Облака под землей — это к ним возвращаются люди,
возвращается дождь и пустынные глазницы его.
Спят медведи в берлогах своих,
спят личинки в разбитой посуде,
засыпает Господь, больше нет у меня ничего...

Пусть сермяжная смерть — отгрызает свою пуповину,
пахнет паленой водкой разошедшийся палеолит.
Мой ночной мотылек пролетает сквозь синюю глину,
сквозь горящую нефть и, нетронутый, дальше летит!

Не глазей на меня, перламутровый череп сатира,
не зови за собой искупаться в парной чернозем.
Облака под землей — это горькие корни аира...
...и гуляют кроты под слепым и холодным дождем.

Мы свободны во всем, потому что во всем виноваты,
мы — не хлеб для червей, не вино — для речного песка.
И для нас рок-н-рол — это солнечный отблеск лопаты
и волшебное пенье подвыпившего рыбака.



* * *

Во тьме виниловой — скрипит январский лед,
колени в ссадинах, бинты, зеленка, йод.
и музыка пехотного полка —
коньками поцарапана слегка.

И потому в припеве о войне:
«умрем» — звучит отчетливо вполне,
и лишь слова: « отечество... тюрьма...»
виниловая сглатывает тьма.

Казалось бы — еще один повтор
и ты услышишь: «Камера! Мотор!»
Как будто там снимаются в кино —
оркестр и сводный хор из Люблино.

Брюхаты водородною тоской,
блуждают дирижабли над Москвой,
стукач берет жену на карандаш,
и мясорубка, и походный марш.

Солдат из фляги делает глоток,
на Патриарших — праздничный каток...
...нахлынет ветер с кровью и золой
и обожжет Неглинку под землей,

и выползет сигнальная звезда,
и мы увидим: здание суда,
прокуренные зубы мертвеца...
Мерцает и мерцает, и мерца...



* * *

Андрею Баранову

Тихий бронзовый Чайковский Петр Ильич,
я затеял прогуляться перед сном.
Вот белеет недоброшенный кирпич —
в чем-то красном и округло-жестяном.

Небо Воткинска азартно и темно,
и созвездие к созвездию впритык,
будто ангелы играют в домино,
не считая на костяшках запятых.

В дом-музей ведут крысиные следы,
ближе к празднику — от тварей спасу нет.
И не ждут от нас ни счастья, ни беды
школьный глобус и щелкунчика скелет.

Для молитвы нужно несколько минут,
для молчания — огромная страна.
Знаю, знаю — крысы всех переживут,
а вот музыку не смогут ни хрена.

Серый снег идет волною за волной,
и снежинки, словно буквы из книг.
Это чучело рояля надо мной
поднимает перламутровый плавник.



* * *

Я выжил из ума, я — выживший, в итоге.
Скажу тебе: «Изюм» и ты — раздвинешь ноги.
Скажу: «Забудь язык и выучи шиповник,
покуда я в тебе — ребенок и любовник...»

На птичьей высоте в какой-нибудь глубинке
любую божью тварь рожают по старинке:
читают «Отче наш» и что-нибудь из Лорки
и крестят, через год, в портвейне «Три семерки».

Вот так и я, аскет и брошенный мужчина,
вернусь на этот свет из твоего кувшина:
в резиновом пальто, с веревкой от Версачи
и розою в зубах — коньячной, не иначе.



ВЫГОВАРИВАЯ ИГОРЯ

Январь, пропахший земляникою,
варенье варится.
Я выговариваю Игоря —
не выговаривается!

В такую вьюгу привкус ягоды
и спирт из трубочки.
Моргаю Игорю: к соседке надо бы
забросить удочки.

Земля слипается в объятьях клевера,
срывая графики.
И ангелы слетают с сервера —
на север Африки.

И нам откуда-то, верней какого-то...
такси бибикают.
Лишь небо — красное горит от холода
над земляникою.



АФРИКА

Сегодня холодно, а ты — без шарфика;
невероятная вокруг зима —
Как будто Пушкину — приснилась Африка
и вдохновение — сошло с ума!

«Отдайте музыку, откройте варешку», —
ворчат медвежье грузовики.
И чай зеленовый друзьям заварить ты,
когда вернетесь вы из Африки.

Ах, с возвращением! Вот угощение:
халва и пряники, домашний мед...
А почему сидим без освещения, —
лишь босоногая звезда поймет.

Когда голодные снега заквакают,
шлагбаум склонится кормить сугроб.
«Любовь невидима, как тень экватора», —
сказал наемни мне один микроб.

Неизлечимая тоска арапова!
Почтовым голубем сквозь Интернет:
разбудишь Пушкина, а он — Шарапова,
а тот — Высоцкого — Да будет свет!



АПАНСИОНАТА

Море хрустит леденцом за щеками,
режется в покер, и похер ему
похолодание в Старом Крыму.
Вечером море топили щенками —
не дочитали в детстве «Му-му».

Вот санаторий писателей в море,
старых какателей пансионат:
чайки и чай, симпатичный юннат
(катер заправлен в штаны). И Оноре,
даже Бальзак, уже не виноват.
Даже бальзам, привезенный из Риги,
не окупает любовной интриги —
кончился калия перманганат.

Вечером — время воды и травы,
вечером — время гниет с головы.
Мертвый хирург продолжает лечить,
можно услышать, — нельзя различить, —
хрупая снегом, вгрызаясь в хурму, —
море, которое в Старом Крыму.



ОКНО

Сода и песок, сладкий сон сосны:
не шумит огонь, не блестит топор,
не построен дом на краю весны,
не рожден еще взяточник и вор.

Но уже сквозняк холодит висок,
и вокруг пейзаж — прям на полотно!
Под сосною спят сода и песок,
как же им сказать, что они — окно?



* * *

Какое вдохновение — молчать,
особенно — на русском, на жаргоне.
А за окном, как роза в самогоне,
плывет луны прохладная печать.
Нет больше смысла — гнать понты, калякать,
по-фене ботать, стричься в паханы.
Родная осень, импортная слякоть,
весь мир — сплошное ухо тишины.
Над кармою, над Библией карманной,
над картою (больничною?) страны —
Поэт — сплошное ухо тишины
с разбитой перепонкой барабанной...

Наш сын уснул. И ты, моя дотрога,
курносую вселенную храня,
не ведаешь, молчание — от Бога,
но знаешь, что ребенок — от меня.



* * *

Я отдыхал на бархате шмелей
еще гудящим от дороги взглядом,
Земля крутилась ночью тяжелей,
вспотев от притяженья винограда.
И пастухом рассветный луч бродил,
приподнимая облако бровями,
но тишина не ведала удил,
и травы не затоптанные вяли.
Я по привычке не вставал с земли,
как тень недавно срубленного сада,
и пахли медом сонные шмели,
и капал яд с ужаленного взгляда.
Я слово недозревшее жевал, —
неопыленный шарик винограда,
и счастлив был, и оттого не знал,
что счастье — есть посмертная награда,
что это жало, словно жизни жаль,
оно дрожало дирижером боли,
и воздух на губах моих дрожал,
наверно, ветер ночевал в трамбоне.
И гусеница медленно ползла,
как молния на вздувшейся ширинке,
наверно, миру не хватало зла,
а глазу — очищающей соринки...



* * *

Мы оставлены кем-то из птичьих,
в не рифмованном списке живых,
посреди тополиных страничек,
под ногтями цветов луговых.

Семена, имена, времена ли?
Ни ума, ни души, ни труда...
Лишь люцерна и клевер — в финале,
одуванчики и лебеда.

Лишь молитва отцу-зверобою:
будет ливень с грозой вот-вот...
И тогда промелькнет над тобою
вострой ласточки — белый живот.



УХА

Луковица огня, больше не режь меня,
больше не плачь меня и не бросай в Казань.
Ложкою не мешай, ложью не утешай,
память — мужского рода: чешется, как лишай.
Окунем нареки, вот мои плавники,
порванная губа, вспоротые стихи.
Вот надо мной проходят пьяные рыбаки.

Все на земле — мольба, дыр и, возможно, щыл.
Господи, Ты зачем комменты отключил?
Всех успокоит Сеть, соль и лавровый лист,
будет вода кипеть, будет костер искрист.
Будут сиять у ног — кости и шелуха...
Как говорил Ван Гог: «Все на земле — уха...»



ГОД ЗМЕИ

Маслянисто мерцает стеклярус,
дремлют спицы, пронзая клубок,
дрыхнет в спальном мешке — Санта Клаус
с четвертинкой вина, полубог.

Мандарины — змеиные дети,
время сбрасывать вам кожуру,
кувыркаться, прокусывать сети,
выползать из авосек в нору.

Время — брызгать оранжевым ядом
и бенгальский рассеивать дым.
Поздравляю тебя с новым гадом,
с мандариновым гадом моим!



* * *

На Страстной бульвар, зверь печальный мой,
где никто от нас — носа не воротит,
где зеваает в ночь сытой тишиной
сброшенный намордник подворотни.

Дверью прищемив музыку в кафе,
портупей сняв, потупев от фальши,
покурить выходят люди в галифе,
мы с тобой идем, зверь печальный, дальше.

Где натянут дождь, словно поводок,
кем? Не разобрать царственного знака.
Как собака, я, до крови промок,
что ж, пойми меня, ведь и ты — собака.

Сахарно хрустит косточка-ответ:
(пир прошел. Обьедки остаются смердам.)
если темнота — отыщи в ней свет,
если пустота — заполняй бессмертным!

Брат печальный мой, преданность моя,
мокрый нос моей маленькой удачи,
ведь не для того создан Богом я,
чтобы эту жизнь называть собачьей?

Оттого ее чувствуешь нутром
и вмещаешь все, что тебе захочется,
оттого душа пахнет, как метро:
днем — людской толпой, ночью — одиночеством...



* * *

Одуванчиковые стебли: оцелованные людьми,
разведенные нараспашку, отлученные от земли,
за хребтом ненасытной ебли — золотится спина любви,
пожалеешь отдать рубашку, позабудешь сказать: замри!

Одуванчик под сенью склона, я с тобой еще поживу —
между Африком и Симоном под виниловую траву.
Нас не купишь куркульской цацкой, не прикормишь с
блатной руки,
над твоей головой бурсацкой — тлеют желтые угольки.

Душный вертер и птичий гамлет, на кленовом листочке —
счет,
Что же нас безрассудно в Гарлем одуванчиковый несет?
Сколько в мире чудесных строчек, составляющих немоту:
не плети из меня веночек, не сдувай меня в темноту.



* * *

Лесе

Кривая речь полуденной реки,
деревьев восклицательные знаки,
кавычки — это птичьи коготки,
расстегнутый ошейник у собаки.

Мне тридцать восемь с хвостиком годков,
меня от одиночества шатает.
И сучье время ждет своих щенков —
и с нежностью за шиворот хватает.

А я ослеп и чуточку оглох,
смердит овчиной из тетрадных клеток...
И время мне выкусывает блох,
вылизывает память напоследок.

Прощай, Герасим! Здравствуй, Южный Буг!
Рычит вода, затапливая пойму.
Как много в мире несогласных букв,
а я тебя, единственную, помню.



УЖИН С НАТУРЩИЦЕЙ

Лая белая собачка, пива темный человек.
Вот вам кружка, вот вам пачка с папиросами «Казбек».
А теперь, садитесь рядом, вот вам слово — буду гадом,
обещаю, только взглядом...
Душный вечер, звон в ушах,
Всюду — признак Божьей кары. Например, в карандашах.

К нам бросается набросок — андалузская мазня:
...сонный скрип сосновых досок, мельтешение огня,
балаганчик, стол заляпан чем-то красным... — Вот и я!
Будет вытащен из шляпы женский кролик бытия!

Без сомнений прикажите Вам зарезать петуха:
вудуист и долгожитель, он — исчадие греха.
Чесноком и красным перцем пусть бока ему натрут
золотого иноверца — в винный соус окупут!

Ведь внутри себя ужалясь, как пчела наоборот,
Смерть испытывает жалость, только — взятки не берет.
В красках — СПИД не обнаружен, будет скомканой постель.
А покуда — только ужин. Уголь, сепия, пастель.



АБАЖУР

Аббу слушаю, редьку сажаю,
август лает на мой абажур.
Абниматься под ним абажаю,
пить абсент, абъявлять перекур.

Он устроен смешно и нелепо,
в нем волшебная сохнет тоска...
Вот и яблоки падают в небо,
и не могут уснуть аблака.

Сделан в желтых садах Сингапура,
пожиратель ночных мотыльков.
Эх, обжора моя, абажура!
Беспросветный Щедрин-Салтыков!



* * *

Мы все — одни. И нам еще не скоро —
усталый снег полозьями елозить.
Колокола Успенского собора
облизывают губы на морозе.
Тишайший день, а нам еще не светит
впрягать собак и мчаться до оврага.
Вселенские, детдомовские дети,
Мы — все одни. Мы все — одна ватага.
О, санки, нежно смазанные жиром
домашних птиц, украденных в Сочельник!
Позволь прижаться льготным пассажиром
к твоей спине, сопливый соплеменник!
Овраг — мне друг, но истина — в валюте
свалявшейся, насиженной метели.
Мы одиноки, потому что в люди
другие звери выйти не успели.
Колокола, небесные подранки,
лакают облака. Еще не скоро —
на плечи брать зареванные санки
и приходить к Успенскому собору.



ПАТЕФОН

Патефон заведешь — и не надо тебе
ни блядей, ни домашних питомцев.
Очарует игрой на подзорной трубе
одноглазое черное солнце.

Ты не знаешь еще, на какой из сторон,
на проигранной, или на чистой:
выезжает монгол погулять в ресторан
и зарезать «на бис» пианиста.

Патефон потихоньку опять заведешь;
захрипит марсианское чудо:
«Ничего, если сердце мое разобьешь,
ведь нужнее в хозяйстве посуда...»

Замерзает ямщик, остывает суфле,
вьется ворон, свистит хворостинка...
И вращаясь, вращаясь, — сидит на игле
Кайфоловка, мулатка, пластинка!



КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПИШМАШИНКИ

На лице твоём морщинка, вот еще, и вот...
Засыпай моя машинка, ангельский живот.
Знаю, знаю, люди — суки: прочь от грязных лап!
Спи, мой олджэ. Спи, мой йцукен. Спи, моя фывап.

Терпишь больше, чем бумага (столько не живут).
Ты — внутри себя бродяга, древний «Ундервуд».
Пусть в Ногинске — пьют непальцы и поют сверчки,
ты приляг на эти пальцы — на подушечки.

Сладко спят на зебрах — осы, крыльями слепя,
вся поэзия — доносы на самих себя.
Будет гоевая паста зеленеть в раю,
западают слишком часто буквы «л» и «ю».

Люди — любят, люди — брешут, люди — ждут меня:
вновь на клавиши порежут на исходе дня.
Принесут в свою квартирку, сводят в туалет,
и заправят под копирку этот белый свет.



* * *

Вот мы и встретились в самом начале
нашей разлуки: «здравствуй-прощай»...
Поезд, бумажный пакетик печали, —
самое время заваривать чай.
Сладок еще поцелуев трофейный
воздух, лишь самую малость горчит...
Слышишь, «люблю», — напевает купейный,
плачет плацкартный, а общий — молчит.
Мир, по наитию, свеж и прекрасен:
чайный пакетик, пеньковая нить...
Это мгновение, друг мой, согласен,
даже стоп-краном не остановить.
Не растворить полустанок в окошке,
не размешать карамельную муть,
зимние звезды, как хлебные крошки,
сонной рукой не смахнуть. Не смахнуть...

СОДЕРЖАНИЕ

БЭТМЕН САГАЙДАЧНЫЙ	3
«Крыша этого дома — пуленепробиваемая солома...»	5
«Не лепо ли ны бяшет, братие, начаты старыми словесы...»	6
«Жил в Херсоне один циклоп, неспособный наморщить лоб...»	7
«В бульварной газете, черным по желтому, я прочел...»	8
СЛОБОДКА	9
«Оглянулась, очерилась, повернула опять налево ...»	10
«Боже, зачем мы с Тобой связались...»	11
«Водомерка очнется в самой высокой рюмке...»	12
«И чужая скучна правота, и своя не тревожит, как прежде...»	13
«Местные лошади бредят тачанкой...»	14
«Будто скороходы исполина...»	15
МАНТРЫ-МАНДРЫ	16
ЦИРКОВЫЕ	17
1. «Цирковая династия: терракотовые артисты...»	17
2. «Цирк, цирк, вернее, чирк, чирк — отсырели...»	17
LAZAR.DOC	19
ШЕЛКОПРЯД	20
«Переводить бумагу на деревья и прикусить листву...»	21
«Кондитерская фабрика Рот Фронт...»	22
«А что мы всё — о птичках, да о птичках...»	23
СТАРОЕ НОВОЕ КИНО	24
«Проснулся после обеда, перечитывал Генри Миллера...»	25
«Мой милый друг! Такая ночь в Крыму...»	26
«Любовный тихход, продавленный диванчик...»	27
«Твердый дятел — клюв в алмазной крошке...»	28
«Мухаммед-бей раскуривал кальян...»	29
«Сколько еще будут дрессировать...»	30
КУРЕНИЕ ДЖА	31

«Симфония краснеет до ушей...»	32
«Вместо щуки и судака — в помощь народу...»	33
«А если ты сверчок — пожизненно обязан...»	34
«И когда меня подхватил бесконечный поток племен...»	35
«Отгремели русские глаголы,...»	36

ТРОЯНСКИЙ ОДЕКОЛОН скитания

ВАРИАЦИИ	39
«Се — Азиопа, ею был украден...»	40
«Челночники переправляют в клетчатом бауле...»	41
«Разбавленный, по-гречески, вином...»	42
«Чем отличается парикмахер от херувима?...»	43
«Рыжей масти в гостиной паркет...»	44
«Безголовые аполлоны мечтают о покое...»	45
МАНАС	46
«Потеряется время в базарной толпе...»	47
«Итак, перед вами Итака, что-то вроде музея...»	48
«Сны трофейные — брат стережет...»	50
«И чиркает синичка-зажигалка...»	51
РУССКОЕ ПОЛЕ	52
«Путь в литературу — кромешный голод, вернее — долог...»	53
«Эзопово море — на пляже один человек...»	54
«Полусонной, сгоревшею спичкой...»	56

ПРИКОСНОВЕНИЯ

«Гули-гули в пространстве гулком...»	59
ПРИКОСНОВЕНИЯ	60
1. «Преступление входит в наказание...»	60
2. «Желтый ноготь, конопляный Будда...»	60
«Поначалу апрель извлечен из прорех...»	61
«Непокорные космы дождя, заплетенные как...»	62
«Пошатываясь после перепоя...»	63
ЛОДКИ	64
1. «Из всех вещей советских напрокат...»	64
2. «Твои глаза, открытые понятно...»	64
СТРЕКОЗА	66
«Почему-то грустит о Капри...»	67

«Пора открыть осеннюю канистру...»	68
«Есть в слове «ресторан» болезненное что-то...»	69
«Стихи о дожде — из воды...»	70
«Это не горение, это говорение...»	71
«Я тебе из Парижа привез...»	72
«Это люди особой породы...»	73
ЖИРАПСКИЕ ТЕКСТЫ	74
1. «Монмартр, Мон Апрель, Мон Май...»	74
2. «Загружаю в себя охренительный вирус:...»	74
«В каком парижском пепельном году...»	76
«Произносишь ее про себя и чувствуешь привкус меди...»	77
«Николай Васильевич Голем...»	78
«Укоряй меня, милая корюшка...»	79
«Меня втаскивали волоком...»	80
«В царапинах мулатовое небо, и шторм затих...»	81
«Маслянистая рыба спина...»	82
«Длинная лапка у божьей коровки...»	83
«Вязнет колокол, мерзнет звонарь...»	84
«За то, что этот сад переживет века...»	85
«День ацтеков, середина мая...»	86
«Мумия винограда — это изюм, изюм...»	87
«Снег в нетерпении прядет ушами...»	88
«Тихо, как на дне Титаника...»	89
«Всадники Потешного Суда...»	90
«Это осень сверкает нашивками...»	91
«Я этот договор когда-нибудь нарушу...»	92
«Разбежались все мои напарники...»	93
«Окончить Институт...»	94
«Это небо не для галочки...»	95
«Соединялись пролетарии...»	96
Всходят звездочки над стихком: * * * * *	97
ПУНКТЫ	98
«А мы — темны, как будто перекаты...»	99
ДРОБЬ	100
«До библейское, Ре бобруйское, Ми...»	101
«Как церковно-славянская книжица, ...»	102
«Спасением обязанный кефиру...»	103

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ	104
ВОЛХВЫ	105
«Мы так долго живем, погруженные в чудо...»	106
«Вот кузнечик выпрыгнул из скобок...»	107
ЗИМНИЙ ПРИЗЫВ	108
1. «Теперь призывают в армию по-другому...»	108
2. «А вот раньше — был совсем другой разговор...»	108

Из цикла «ПРИБОРЫ БЫТИЯ»

«Мне подарила одна маленькая воинственная страна...»	113
«Файл стерпит больше, чем бумага...»	114
2041 г.	115
«Между Первой и Второй мировой...»	116
«Пускай ты — глупая блондинка...»	117
НАЕМНИКИ	118
1. «Пристрою на свои колени что-нибудь пушистое, живое...»	118
2. «На черной тумбочке — луна...»	118
«На сетчатках стрекоз чешуилось окно...»	120
«как его звать не помню варварский грязный город...»	121

ТАЛИСМАННЫЕ ТЕКСТЫ

из книги в книгу

ОТПЛЫВАЮЩИМ	125
МОСТЫ	126
1. «Лишенный глухоты и слепоты...»	126
2. «Слюною ласточки и чирканьем стрижа...»	126
«Жил да был человек настоящий...»	127
ПИСЬМО В БУТЫЛКЕ	128
«Над Марсовым полем — звезды керосиновый свет...»	129
«Открывая амбарную книгу зимы...»	130
«Напой мне, Родина, дамасскими губами...»	131
«Облака под землей — это корни кустов и деревьев...»	132
«Во тьме виниловой — скрипит январский лед...»	133
«Тихий бронзовый Чайковский Петр Ильич...»	134
«Я выжил из ума, я — выживший, в итоге...»	135
ВЫГОВАРИВАЯ ИГОРЯ	136
АФРИКА	137

АПАНСИОНАТА.....	138
ОКНО.....	139
«Какое вдохновение — молчать...».....	140
«Я отдыхал на бархате шмелей...».....	141
«Мы оставлены кем-то из птичьих...».....	142
УХА.....	143
ГОД ЗМЕИ.....	144
«На Страстной бульвар, зверь печальный мой...».....	145
«Одуванчиковые стебли: оцелованные людьми...».....	146
«Кривая речь полуденной реки...».....	147
УЖИН С НАТУРЩИЦЕЙ.....	148
АБАЖУР.....	149
«Мы все — одни. И нам еще не скоро...».....	150
ПАТЕФОН.....	151
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПИШМАШИНКИ.....	152
«Вот мы и встретились в самом начале...».....	153

Литературно-художественное издание

*Кабанов
Александр Михайлович*

**Бэтмен Сагайдачный
крымско-херсонский эпос**

ISBN 978-5-902976-31-8

Рисунок на обложке
Стас Орлов —употogalez

Подготовка оригинал-макета —
издательство «Арт Хаус медиа»

ООО «Арт Хаус Медиа»,
Россия, 115035, г. Москва, а/я 42

Подписано в печать 30.06.2009. Формат 84x108/32.

Гарнитура YanusC Бумага офсетная.

Печать офсетная. Усл. печ. л. 5,0.

Тираж 650 экз. Заказ №

**Вы можете заказать книги издательства
«Арт Хаус медиа»**

по адресу:

ООО «Арт Хаус медиа»,
Россия, 115035, г. Москва, а/я 42

e-mail: director@protodesign.ru

на сайте: www.ahm.ru,
www.books.ru,
www.bolero.ru

по телефону:

тел. 8 903 730 91 83

**Вы можете купить книги издательства
в магазинах Москвы**

